



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

150

Slav 4335. 6. 70

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife



Harvard College Library

Meine Memoiren
von Leonid Andrejew

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ

МОИ ЗАПИСКИ

BERLIN
Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow
1908

Slav 4335.6.70

✓



Право собственности въ Россіи закрѣплено за автором
во всѣхъ странахъ —
гдѣ это допускается существующими законами.

Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das Ubersetzungrecht in fremde
Sprachen.

DRUCK DER SPAMERSCHEN BUCHDRUCKEREI
IN LEIPZIG

МОИ ЗАПИСКИ

I.

Мнѣ было двадцать семь лѣтъ, я только что съ выдающимся успѣхомъ защитилъ диссертaciю на степень доктора математики — когда меня взяли середи ночи и ввергли въ эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вамъ о чудовищномъ преступлениі, въ которомъ меня обвинили: есть событiя, которыхъ люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращенiя къ самимъ себѣ; но вѣроятно существуютъ еще въ живыхъ многiе, которые помнятъ этотъ страшный процессъ и «человѣка-звѣря», какимъ называли меня тогда газеты. Помнить вѣроятно и то, какъ все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой синхронности тогдашняго главы государства обязалъ я тѣмъ, что живу и пишу сейчасъ эти строки въ назиданiе людямъ слабымъ и колеблющимся. Скажу коротко: былъ звѣрски умерщвленъ мой отецъ, старший братъ и сестра, и преступленiе это совершилъ будто бы я съ цѣлью полученiя дѣйствительно огромнаго наслѣдства.

Теперь я стариkъ, скоро умру и вамъ нѣть ни малѣйшаго основанiя сомнѣваться, если я скажу, что былъ совершенно не виновенъ въ чудовищномъ и страшномъ злодѣянiи, за которое двѣнадцать честныхъ и добросовѣстныхъ судей единогласно приговорили меня къ смертной казни, замѣненной впослѣдствiи пожизненнымъ заключенiемъ въ одиночной камерѣ. Просто роковое спѣщенiе обстоятельствъ, большихъ и маленькихъ событiй, темнаго молчанiя и неясныхъ словъ, мнѣ, невинному, придали обликъ и видимость злодѣя. И глубоко ошибся бы тотъ, кто заподозрилъ бы меня въ не-

расположеніи къ моимъ строгимъ судьямъ: нѣтъ, они были совершенно правы, совершенно правы. Какъ люди, которые могутъ судить о вещахъ и событияхъ только по видимости ихъ и лишены возможности проникнуть въ ихъ сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось такъ, что въ игрѣ событий правда о моихъ поступкахъ, которую я зналъ только одинъ, пріобрѣла всѣ черты наглой и даже безстыдной лжи: и какъ это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не правдой, а только ложью могъ бы я возстановить и утвердить истину о моей невиновности. Впослѣдствіи, уже въ тюрьмѣ, воспроизведя во всѣхъ подробностяхъ исторію преступленія и суда, и представляя себя на мѣстѣ одного изъ судей, я каждый разъ неизбѣжно приходилъ къ полному убѣждѣнію въ своей виновности. Тогда же я произвелъ одну очень интересную и поучительную работу: откинувъ совершенно вопросъ о правдѣ и лжи по существу, я подвергъ факты и слова многочисленнымъ комбинаціямъ, строя изъ нихъ зданія, какъ маленькая дѣти строятъ различныя сооруженія изъ своихъ деревянныхъ кубиковъ; и послѣ упорныхъ стараній мнѣ удалось, наконецъ, найти одну такую комбинацію фактовъ, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невиновность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сихъ поръ помню то огромное, не лишенное страха, чувство изумленія, какое испыталъ я при моемъ странномъ и неожиданномъ открытии: говоря правду, я привожу людей къ ошибкѣ и тѣмъ обманываю ихъ; утверждая ложь, привожу ихъ, наоборотъ, къ истинѣ и познанію. Тогда я еще не понималъ, что неожиданно, подобно Ньютону съ его знаменитымъ яблокомъ, я открылъ великий законъ, на которомъ зиждется вся исторія человѣческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармоніи между видимымъ и мыслимымъ на основаніи строгихъ законовъ логического мышленія. И вместо того, чтобы радоваться, я въ наивномъ, юношескомъ

отчаяніи восклицалъ: «гдѣ же правда? Гдѣ же правда въ этомъ мірѣ призраковъ и лжи!» (См. мой «Дневникъ заключенного» отъ 29 июня 18...)

Я знаю, что въ настоящее время, когда мнѣ осталось жить какихъ нибудь пять-шесть лѣтъ, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросилъ обѣ этого. Но помимо привычки къ тюрьмѣ и другихъ весьма важныхъ причинъ, о которыхъ я сообщу ниже, я просто не въ правѣ просить о помилованіи и тѣмъ нарушать силу и естественное теченіе законнаго и вполнѣ справедливаго приговора. И отнюдь не желалъ бы я слышать въ примѣненіи къ себѣ слова «жертва судебной ошибки», какъ выражались, къ моему огорченію, нѣкоторые изъ моихъ любезныхъ посѣтителей. Повторяю, ошибки нѣтъ и не можетъ быть тамъ, гдѣ при совокупности опредѣленныхъ данныхъ, нормально устроенный и развитой мозгъ непреложно приходитъ къ одному и единственному выводу.

Я осужденъ справедливо, хотя и не совершилъ преступленія — такова та простая и ясная истина, въ уваженіи къ которой я радостно и спокойно доживаю на землѣ мои послѣдніе годы.

И единственная цѣль, какою руководился я при составленіи моихъ скромныхъ «записокъ», это показать моему благосклонному читателю, какъ при самыхъ тягостныхъ условіяхъ, гдѣ не остается, казалось бы, мѣста ни надеждѣ, ни жизни — человѣкъ, существо высшаго порядка, обладающее и разумомъ и волею, находить то и другое. Я хочу показать, какъ человѣкъ, осужденный на смерть, свободными глазами взглянулъ на міръ сквозь рѣшетчатое окно своей темницы, и открылъ въ мірѣ великую цѣлесообразность, гармонію и красоту — къ стыду тѣхъ безумцевъ, которые, живя на свободѣ, въ довольствіи и счастіи, отвратительно клевещутъ на жизнь. Нѣкоторые изъ посѣтителей моихъ упрекаютъ меня въ «надменности», спрашиваютъ, откуда я взялъ право учить и проповѣдывать: жестокіе въ недомысліи своеи, они хотѣли бы и улыбку согнать съ лица того, кто,

какъ убійца, навѣкъ заключенъ въ тюрьму. Нѣть — какъ не сойдеть съ усть моихъ благожелательная и ясная улыбка, свидѣтельство совѣсти чистой и незапятнанной, такъ никогда не помрачится моя душа, безтрепетно прошедшая сквозь тѣснину жизни, мощнымъ подъемомъ воли перенесшая меня черезъ тѣ страшныя пропасти и бездонные провалы, гдѣ такъ много смѣльчаковъ нашло геройскую, но увы! безплодную гибель. И если тонъ моихъ «Записокъ» иногда можетъ показаться благосклонному читателю слишкомъ рѣшительнымъ, то это отнюдь не отсутствіе скромности, а лишь твердая увѣренность въ своей правотѣ, и столь же твердое желаніе быть полезнымъ ближнему по мѣрѣ слабыхъ силъ моихъ.

Здѣсь же я долженъ извиниться, что буду неоднократно по степени надобности ссылаться на мой «Дневникъ заключеннаго», неизвѣстный читателю; но дѣло въ томъ, что полное опубликованіе «Дневника» я считаю преждевременнымъ и даже, быть можетъ, опаснымъ. Начатый въ далекую юношескую пору жестокихъ разочарованій, крушенія всѣхъ вѣрованій и надеждъ, дышацій безпредѣльнымъ отчаяніемъ, онъ мѣстами съ очевидностью свидѣтельствуетъ, что авторъ его находился если не въ состояніи полного сумашествія, то на роковой грани его. И если мы вспомнимъ, какъ заразительна эта болѣзнь, то моя осторожность въ пользованіи дневникомъ станетъ вполнѣ понятной.

О цвѣтущая юность! Съ невольной слезою во взорѣ я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипѣніе силъ — но не желалъ бы я твоего возвращенія, о цвѣтущая юность. Только съ сѣдиною волосъ приходитъ ясная мудрость и та великая способность къ безкорыстному созерцанію, какая всѣхъ старцевъ дѣлаетъ философами и часто даже мудрецами.

II.

Тѣ изъ моихъ любезныхъ посѣтителей, которые оказываютъ мнѣ честь выраженіемъ своего восторга и даже —

да простится мнѣ эта маленькая нескромность! — даже преклоненія передъ моей душевной ясностью, едва ли могутъ представить, какимъ явился я въ эту тюрьму. Десятки лѣтъ, пронесшихся надъ моей головою и побѣлившихъ мои волосы, не могутъ заглушить того легкаго волненія, какое испытываю я при воспоминаніи о первыхъ минутахъ, когда со скрипомъ ржавыхъ петель открылись и навсегда закрылись за мною роковыя двери.

Неодаренный литературнымъ талантомъ, который въ сущности есть неудержимая наклонность къ вымыслу и лжи, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя — въ ту давнишнюю пору.

Это былъ почти юноша, 27 лѣтъ, какъ я уже имѣлъ случай упомянуть, нрава несдержаннаго, порывистаго, способнаго къ рѣзкимъ уклоненіямъ. Нѣкоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбіе, легко оскорблляемое и становящее на дыбы при каждомъ ничтожномъ поводѣ, задорная стремительность въ рѣшеніи міровыхъ проблемъ, припадки меланхоліи, чередующіеся съ такими же дикими припадками веселія — все это придавало юному математику характеръ крайней неустойчивости, печальной и рѣзкой дисгармоничности.

Не лишнимъ считаю упомянуть и о чрезмѣрной гордости, фамильной чертѣ, унаследованной мною отъ матушки и нерѣдко мѣшавшей мнѣ внимать совѣтамъ людей болѣе опытныхъ и зрѣлыхъ, а также о крайнемъ упорствѣ въ проведеніи цѣлей, свойствѣ само по себѣ и хорошемъ, но становившимся опаснымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда поставленная цѣль недостаточно продумана и обоснована.

И вотъ первые дни заключенія я велъ себя, какъ и всѣ другіе безумцы, попадающіе въ тюрьму. Я громко и, конечно, безцѣльно кричалъ о моей невиновности, яростно требовалъ немедленнаго освобожденія и даже стучалъ кулаками въ дверь и стѣны, оставляя ихъ естественно глухими, а себѣ причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже билъ головою о стѣны и часами лежалъ въ безпамятствѣ на ка-

менномъ полу камеры; и въ теченіе нѣкотораго времени, дойдя до отчаянія, отказывался отъ употребленія пищи, пока настойчивыя требованія организма не побѣдили моего упрямства. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соотвѣтствовала всему вышеизложенному. Я проклиналь моихъ судей и грозилъ имъ безпощадной местью, наконецъ, всю человѣческую жизнь, весь міръ, даже небо я сталъ признавать одной огромной несправедливостью, насыщеною и глумлениемъ. Забывая, что въ моемъ положеніи я едва ли могу быть безпристрастнымъ, я съ самоувѣренностью юноши, съ болѣзнетою остротой узника приходилъ постепенно къ полному отрицанію жизни и ея великаго смысла. Это были дѣйствительно ужасные дни и ночи, когда сдавливаемый стѣнами, не получающій отвѣта ни на одинъ изъ своихъ вопросовъ, я безконечно шагалъ по камерѣ и одну за другою бросалъ въ черную пучину всѣ великия цѣнности, которыми одарила насъ жизнь: дружбу, любовь, разумъ и справедливость.

Въ нѣкоторое оправданіе я могу привести то обстоятельство, что какъ разъ въ эти первые и наиболѣе тяжелые годы произошелъ цѣлый рядъ событий, весьма тягостно отразившихся на моей психикѣ. Такъ съ глубочайшимъ негодованіемъ я узналъ, что дѣвушка, имени которой я не назову и которая должна была стать мою женою, вышла замужъ за другого. Она, одна изъ немногихъ, вѣрила въ мою невиновность, еще при послѣднемъ прощаніи она клялась остаться мнѣ вѣрной до гроба и скорѣе умереть, нежели измѣнить любви — и вотъ всего лишь черезъ годъ она вышла замужъ за господина, котораго я зналъ, человѣка, хотя и обладающаго нѣкоторыми достоинствами, но далеко неумнаго. Я не хотѣлъ понять, насколько подобный бракъ былъ естественнымъ со стороны молодой, здоровой и красивой дѣвушки, одаренной вдобавокъ особенной склонностью къ материнству — самъ присужденный къ длительной смерти, я хотѣлъ, чтобы и она, неизвѣстно для чего, раздѣлила мою участіе. Особенно дикимъ покажется этотъ взглядъ, если

вспомнить, что я былъ хорошо знакомъ съ естественными науками и лучше всякаго другого могъ понимать, насколько повелительны требованія здороваго инстинкта. Но, увы, всѣ мы забываемъ о естественныхъ наукахъ, когда намъ измѣняетъ любимая женщина — да простится мнѣ эта маленькая шутка! Въ настоящее время госпожа N. N. счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показываетъ, насколько цѣлесообразенъ и совершенно согласенъ съ требованіями природы и жизни былъ ея тогдашній, столь огорчившій меня бракъ.

Долженъ сознаться, однако, что въ ту пору я былъ далекъ отъ спокойствія. Ея чрезвычайно милое и любезное письмо, въ которомъ она увѣдомляла меня о своемъ бракѣ, выражая глубокое сожалѣніе, что измѣнившіяся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь, принуждаютъ ее нарушить данное обѣщаніе — это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее слѣды ея нѣжныхъ пальцевъ письмо показалось мнѣ посланіемъ самого Дьявола.

Огненные письмена жгли мой измученный мозгъ, и въ дикомъ изступленіи я сотрясалъ двери моей камеры и звалъ неистово: «прійди! Дай мнѣ только взглянуть въ твои лживые глаза! Дай мнѣ только услышать твой лживый голосъ! Дай мнѣ только прикоснуться пальцами къ твоему нѣжному горлу и въ твой предсмертный крикъ влить мой послѣдній, горкій смѣхъ.» (См. «Дневникъ заключенного» отъ 14 дек. 18 . . .)

Изъ приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотритъ, насколько были правы суды, осудившіе меня за убийство: во истину они проэрѣвали во мнѣ убийцу.

Мрачности тогдашняго моего міросозерцанія содѣйствовали нѣкоторыя другія события, естественности которыхъ не могъ понять мой помутившійся разсудокъ. Черезъ два года послѣ брака моей невѣсты, а слѣдовательно, послѣ моего заключенія въ тюрьму черезъ три, умерла моя мать, и умерла, какъ мнѣ передали, отъ глубочайшей скорби за меня. Какъ это ни странно, она до конца дней своихъ хранила твердую

увѣренность, что это я совершилъ чудовищное злодѣяніе. Повидимому, это убѣжденіе было неизсказаемъ источникомъ скорби и главной причиной той черной меланхоліи, которая сковала ея уста молчаніемъ и вызвала смерть отъ паралича сердца. Какъ мнѣ передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно какъ и именъ умершихъ столь трагически, и все свое огромное состояніе, послужившее будто бы мотивомъ къ совершенію убийства, завѣщала на различныя благотворительныя цѣли. Характерно то обстоятельство, что даже при такихъ ужасныхъ условіяхъ, материнскій инстинктъ не совсѣмъ покинулъ ее: въ припискѣ къ завѣщанію нѣкоторую довольно значительную сумму она оставила мнѣ, вполнѣ обеспечивая мое существованіе какъ въ тюрьмѣ, такъ и на свободѣ.

Теперь я понимаю, что какъ бы ни велика была ея скорбь, одной ея было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой былъ преклонный возрастъ моей матушки и цѣлый рядъ болѣзней, естественно расшатавшихъ ея когда то крѣпкій и стойкій организмъ. Во имя справедливости я долженъ сказать, что мой покойный отецъ, человѣкъ весьма слабохарактерный, далеко не былъ примѣрнымъ мужемъ и семьяниномъ, и многочисленными измѣнами, ложью и обманомъ доводилъ мою матушку до отчаянія, непрестанно оскорбляя ея гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понималъ этого, смерть матери показалась мнѣ однимъ изъ жесточайшихъ проявленій міровой несправедливости и вызвала новый потокъ безцѣльныхъ и кощунственныхъ проклятій.

Не знаю, долженъ ли я утомлять вниманіе читателя рассказомъ о другихъ событияхъ однородного свойства. Упомяну коротко, что меня одинъ за другимъ перестали посещать мои друзья, оставшіеся у меня отъ того времени, когда я былъ счастливъ и свободенъ. По ихъ словамъ, они вѣрили въ мою невиновность и первое время горячо выражали мнѣ свое сочувствіе. Но наши жизни, моя въ тюрьмѣ и ихъ на свободѣ, были столь различны, что постепенно подъ давле-

ниемъ совершенно естественныхъ причинъ: забывчивости, служебныхъ и иныхъ обязанностей, отсутствію общихъ интересовъ, они стали являться на свиданія все рѣже и рѣже и подъ конецъ исчезли совсѣмъ. Не могу безъ улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измѣна любимой дѣвушки не вызвали во мнѣ такого безнадежно горькаго чувства, какое удалось исторгнуть изъ души моей этимъ господамъ, имена которыхъ теперь я и самъ плохо помню.

«Какой ужасъ, какая боль! — Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сдѣлали: вы оставили меня одного! Развѣ мыслимо оставлять человѣка одного? Даже у змѣи есть товарищъ, даже у паука есть подруга — а человѣка вы оставили одного. Дали ему душу — и оставили одного; дали сердце, разумъ, дали руку для пожатія, уста для поцѣлую — и оставили одного! Что же дѣлать человѣку, когда его оставили одного?» — такъ восклицалъ я въ «Дневникѣ заключеннаго», терзаясь горестными недоумѣніями. Въ юношескомъ ослѣпленіи своемъ, въ боли молодого, неразумнаго сердца, я все еще не хотѣль понять, что одиночество, на которое я такъ горько жалуюсь, подобно разуму, есть преимущество, данное человѣку передъ другими тварями, дабы оградить отъ чуждаго взора святыхъ тайны его души. Пусть рассудитъ мой серьезный читатель, во что превратилась бы жизнь, если бы отнять у человѣка его право, его обязанность быть одинокимъ? Въ сборищѣ праздныхъ болтуновъ, въ унылую коллекцію прозрачно-стеклянныхъ куколъ, убивающихъ другъ друга своимъ однообразiemъ, въ дикий городъ, гдѣ всѣ двери открыты, окна распахнуты и прохоже скучливо, сквозь стеклянныя стѣны, наблюдаютъ одинъ и тѣ же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладаетъ лицомъ; и морда, вместо лица, у тѣхъ тварей, что не знаютъ одиночества, великаго, благостнаго, священнаго одиночества души.

И называя друзей моихъ «вѣроломными измѣнниками, предателями», не могъ я, несчастный юноша, понять того мудраго закона жизни, по которому не вѣчны ни дружба, ни

любовь, ни даже въжнѣйшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтовъ, провозгласившихъ вѣчную дружбу и любовь, я не хотѣлъ видѣть того, что каждодневно наблюдаетъ изъ оконъ своего жилища мой благосклонный читатель: какъ друзья, родные, мать и жена, въ видимомъ отчаяніи и слезахъ, провожаютъ на кладбище дорогого покойника и по истеченіи времени возвращаются обратно. Никто не закапывается вмѣстѣ съ мертвѣцомъ, никто не просить его потѣниться и дать мѣсто возлѣ себя въ гробу, и если горестная жена восклицаетъ, обливаясь слезами: «о, закопайте меня вмѣстѣ съ нимъ!», то этимъ символически она выражаетъ лишь крайнюю степень своего отчаянія, въ чемъ легко убѣдиться, попробовавши, хотя бы въ шутку, столкнуть ее въ могилу. И тѣ, ктодерживаютъ ее, также лишь символически выражаютъ свое сочувствіе и пониманіе, придавая этимъ похоронному обряду необходимый характеръ торжественной печали.

Законамъ жизни, а не смерти, и не поэтическаго вымысла, какъ бы ни былъ онъ прекрасенъ, долженъ подчиняться человѣкъ. Да и можетъ ли быть прекраснымъ вымыселъ? Развѣ нѣть красоты въ суровой правдѣ жизни, въ мощномъ дѣйствіи ея непреложныхъ законовъ, съ великимъ безпристрастіемъ подчиняющихъ себѣ какъ движение небесныхъ свѣтиль, такъ и беспокойное сѣщеніе тѣхъ крохотныхъ существъ, что именуются людьми!

Припоминаю при этомъ не лишенный интереса случай, относящийся къ тому далекому времени, когда я былъ еще беззородымъ юношемъ, студентомъ второго курса. Въ группѣ съ товарищами однокурсниками я работалъ надъ трупомъ какого-то неизвѣстнаго, уже пожилого человѣка. Помню то отвращеніе, съ какимъ первоначально услышалъ я гнилостный запахъ разложенія, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испыталъ я при первомъ прикосновеніи моихъ живыхъ пальцевъ къ гнющему мясу. Но захваченный интересною работою, я постепенно привыкъ къ дурному запаху, а вскорѣ, въ одинъ изъ увлекательнѣйшихъ вече-

ровъ, когда случайно мнѣ пришлось работать одному, я неожиданно почувствовалъ глубочайшій восторгъ передъ необыкновеннымъ зрѣлищемъ — обратнаго шествія матеріи отъ жизни къ смерти, отъ сложнѣйшей конструкціи живого организма къ простѣйшимъ элементамъ вещества. Долго въ экстазѣ, который я осмѣлюсь назвать религіознымъ, любовался я трупомъ, самъ своей неподвижною фігурой, со скальпелемъ въ одной рукѣ, съ другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенаго созерцанія. Такъ даже въ юные годы случайной гостьей навѣщала меня прекрасная истина, полнымъ обладаніемъ которой только теперь я вправѣ гордиться.

Позволивъ себѣ это краткое, быть можетъ, излишнее отступленіе, я перехожу къ дальнѣйшему повѣствованію.

III.

Такъ печально прожилъ я въ тюрьмѣ пять или шесть лѣтъ.

Первый спасительный лучъ мелькнулъ для меня какъ разъ съ той стороны, откуда я всего менѣе могъ ожидать его. Здѣсь я долженъ извиниться передъ читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужденъ буду говорить о вещахъ, о которыхъ обычно умалчиваются или ограничиваются смутными намеками. Но великій разумъ, который путемъ долгаго искуса и страданія я открылъ во всѣхъ явленіяхъ жизни, да разсѣть передъ вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невѣжественные и часто лицемѣрные набрасываютъ на важнѣйшія стороны жизни человѣка. Внѣшній неприличности дальнѣйшаго повѣствованія да послужатъ оправданіемъ, если таковое нужно, его цѣломудренный и высокій смыслъ.

Какъ вы, вѣроятно, уже догадались, рѣчь идетъ о такъ называемомъ «гнусномъ порокѣ», къ которому я естественно приведенъ былъ всей совокупностью обстоятельствъ. Въ начальѣ, полный смутнаго и тоскливатаго отвращенія, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкіе галлюци-

наці и сны, наконецъ, полная невозможность бороться **далѣе** съ тѣломъ, законно требующимъ своего, привели меня **къ** тому, что я открыто и смѣло вступилъ на путь искусствен-наго удовлетворенія половой потребности. Обладая даромъ нѣкоторой фантазіи, неизмѣннымъ объектомъ своихъ одино-кихъ любовныхъ вожделѣй я сдѣлалъ ее, мою бывшую невѣсту, мою любовь, мою мечту и, если можно такъ вы-разиться, жилъ съ нею въ честномъ бракѣ всѣ эти десятки лѣтъ, пока совершенно естественно, съ наступленіемъ ста-рости, не погасла во мнѣ потребность въ половомъ общенії. И время, которое въ движеніи своемъ уравниваетъ факты съ продуктами фантазіи, одинаково оставляя ихъ только **въ** памяти и больше нигдѣ, даетъ мнѣ — старцу сладкую воз-можность воспоминаній. Если бы не боязнь утомить вни-маніе читателя, я могъ бы передать ему долгую повѣсть любовныхъ восторговъ, муки ревности, тоски ожиданій и радости мгновенныхъ тайныхъ встрѣчъ. И могу увѣритъ, что эта повѣсть была бы нисколько не хуже, не короче, не менѣе реальна чѣмъ то, что могъ бы разскажать намъ о своей жизни съ г-жею N. N. ея фактической мужъ.

Этотъ случай, самъ по себѣ быть можетъ и не столь значительный, показалъ мнѣ, однако, что какъ человѣкъ, существо высшаго порядка, обладающій не только инстинк-томъ, но и разумомъ, я могу стать выше обстоятельствъ и найти исходъ тамъ, где неразумное животное, вѣроятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности.

Второе — это случилось почти одновременно съ моимъ вступленіемъ въ бракъ — что вдругъ открыло почву подъ моими ногами, было, какъ это ни странно, создавшееся убѣжденіе, что бѣгство изъ тюрьмы для меня не- мыслимо.

Первое время моего заключенія, я какъ пылкій юноша-фантазеръ строилъ всевозможные планы бѣгства, и нѣко-торые изъ нихъ казались мнѣ вполнѣ осуществимыми. Питая обманчивыя и несбыточныя надежды, эта мысль, естественно, держала меня въ состояніи напряженной тревоги и мѣшала

сосредоточиться моему вниманію на болѣе важномъ и существенномъ. Отчаявшись въ осуществимости одного плана, я немедленно создавалъ другой, но конечно не подвигался впередъ, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этомъ каждый переходъ отъ одной мечты къ другой былъ сопряженъ съ жестокими страданіями, терзавшими мою душу, какъ орелъ тѣло Прометея.

Но вотъ однажды, всматриваясь усталымъ взоромъ въ стѣны своей камеры, я вдругъ почувствовалъ, какъ не преоборимо толстъ камень, какъ крѣпокъ цементъ, его соединяющій, какъ искусно, съ точнымъ почти математическимъ разсчетомъ сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущеніе было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это было ужасъ безнадежности.

Здѣсь какъ въ моей памяти, такъ и въ «Дневникѣ», существуетъ нѣкоторый пробѣль: я рѣшительно не могу припомнить, что дѣлалъ я и чувствовалъ въ теченіе двухъ или трехъ послѣдующихъ мѣсяцевъ. И первая запись въ дневникѣ, появившаяся послѣ долгаго періода молчанія, своей незначительностью не даетъ ключа къ разгадкѣ: въ короткихъ и сжатыхъ выраженіяхъ я сообщаю лишь, что мнѣ сшили новое платье и что я пополнѣлъ. (См. «Дневникъ заключенного» отъ 16 апрѣля 18 . . .)

Фактъ тотъ, что погасивъ всѣ надежды, сознаніе невозможности бѣгства разъ и навсегда погасило и мучительную тревогу и освободило отъ рабства мой умъ, уже и тогда склонный къ возвышенному созерцанію и радостямъ математики. Все еще смутно, но уже съ настойчивостью, обѣщающей близкое освобожденіе, я стала посвящать мои дни тому, что съ помощью догадокъ и приблизительныхъ разсчетовъ началъ вычислять размѣры и твердость стѣнъ, включая сюда и тѣ, что со всѣхъ сторонъ облегали нашу тюрьму. Многочисленные чертежи, испещряющіе тогдашній мой «Дневникъ», свидѣтельствуютъ о кропотливой и безпримѣрно настойчивой работѣ моей пробуждавшейся мысли, а дважды въ разныхъ мѣстахъ повторенное и подчеркнутое гордое

слово „*европа!*“ уже тогда роднить меня съ славнымъ мудрецомъ древности, умѣвшимъ рѣшать великия проблемы подъ градомъ вражескихъ стрѣлъ, на пепелищѣ родного города.

Но первымъ настоящимъ днемъ освобожденія я считаю слѣдующій. Это было прекрасное весеннее утро (6 мая), и въ открытое окно вливался живительный, бодрый воздухъ; и гуляя по камерѣ, я каждый разъ при поворотѣ, безсознательно, съ смутнымъ интересомъ взглѣдывалъ на высокое окно, где на фонѣ голубого безоблачного неба четко и рѣзко вычерчивала свой контуръ желѣзная рѣшетка.

— Почему небо такъ красиво именно сквозь рѣшетку?
— размышлялъ я, гуляя. — Не есть ли это дѣйствіе эстетического закона контрастовъ, по которому голубое чувствуется особенно сильно на ряду съ чернымъ? Или не есть ли это проявленіе какого то иного, вышаго закона, по которому безграничное постигается человѣческимъ умомъ лишь при непремѣнномъ условіи введенія его въ границы, напримѣръ, включенія его въ квадратъ?

Вспомнивъ затѣмъ, какъ всегда, въ той жизни, при взглѣдѣ въ широко открытое окно, не защищенное рѣшеткой, или въ небесный просторъ я испытывалъ потребность летѣть, мучительную по своей явной бесплодности и нелѣпости — я вдругъ почувствовалъ нѣжность къ рѣшеткѣ, нѣжную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человѣческими руками какого нибудь невѣжественаго кузнеца, даже не отдающаго себѣ отчета въ глубокомъ смыслѣ своего созданія, вдѣланная въ стѣну столь же невѣжественнымъ каменщикомъ, она вдругъ явила собою образецъ глубочайшей цѣлесообразности, красоты, благородства и силы. Схвативъ въ свои желѣзные квадраты безконечное, она застыла въ холодномъ и гордомъ покоѣ, пугая людей темныхъ, давая пищу для размышенія людямъ разсудительнымъ и восхищая мудреца!

Это счастливое наблюденіе, сдѣланное въ прекрасное

весеннее утро (6 мая), послужило только началомъ къ цѣлому ряду такихъ же. Откинувъ все личное, взглядаваясь въ окружающее холоднымъ и зоркимъ взглядомъ наблюдателя, я вскорѣ пришелъ къ чрезвычайно цѣнному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне цѣлесообразному плану, вызывающему восторгъ своею законченностью.

IV.

Дабы сдѣлать дальнѣйшее повѣствованіе болѣе понятнымъ моему благосклонному читателю, я вынужденъ сказать нѣсколько словъ о томъ исключительномъ, весьма для меня лестномъ и, боюсь, даже не вполнѣ заслуженномъ положеніи, какое занимаю я въ нашей тюрьмѣ. Съ одной стороны, моя душевная ясность, рѣдкая законченность міросозерцанія и благородство чувствъ, поражающія всѣхъ моихъ собесѣдниковъ, съ другой — нѣкоторыя, весьма, впрочемъ, скромныя услуги, оказанныя мною г. Начальнику, создали для меня рядъ привилегій, которыми я пользуюсь, конечно, вполнѣ умѣренно, не желая выходить изъ общаго плана и системы нашей тюрьмы. Такъ, на еженедѣльныя, отнюдь неограниченныя временемъ свиданія, ко мнѣ допускаются всѣ желающіе меня видѣть, что подчасъ составляетъ довольно изрядную аудиторію. Не смѣя вполнѣ принять увѣреній, къ сожалѣнію, нѣсколько ироническихъ г-на Начальника, что я могъ бы составить «гордость любой тюрьмы», я могу, однако, безъ ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащимъ вѣсомъ и, что среди посѣтителей моихъ, я насчитываю не мало горячихъ почитателей и пылкихъ почитательницъ. Упомяну, что и самъ г. Начальникъ, равно какъ и помощники его, нерѣдко оказывають мнѣ честь своимъ посѣщеніемъ, черпая у меня силу и мужество для продолженія ихъ нелегкаго труда. Конечно, вполнѣ свободно я пользуюсь тюремной библіотекой и даже архивомъ тюрьмы; и если на мою просьбу дать мнѣ точный планъ тюрьмы, г. Начальникъ отвѣтилъ вѣжливымъ отказомъ, то отнюдь

не по чувству недовѣрія ко мнѣ, а лишь потому, что тако-
вой планъ составляетъ государственную тайну.

То, что сейчасъ разскажу я о нашей тюрьмѣ будеть, конечно, далеко неполно, такъ какъ въ основѣ свѣдѣній лежить лишь моя наблюдательность; что же касается виѣп-
няго вида тюрьмы, то довольно точное представлѣніе о немъ мнѣ дали мои любезные посѣтители, снабдивъ меня достаточ-
нымъ количествомъ письменныхъ и изустныхъ описаний,
рисунковъ и даже фотографій. Признаюсь, не безъ нѣко-
тораго трепета, приступаю я къ изображенію нашей тюрьмы.

Это — огромное пятиэтажное зданіе, имѣющее форму буквы Т, со стѣнами, сложенными въ пять, мѣстами въ шесть кирпичей. Расположенное на окраинѣ города, на границѣ пустыннаго, поросшаго бурьяномъ поля, оно издалека привлекаетъ взоры путника своими суровыми очертаніями, суля ему покой и отдыхъ отъ безконечныхъ скитаній. Не будучи оштукатурено, зданіе сохраняетъ естественный темнобурый цвѣтъ старого кирпича, и вблизи, какъ говорятъ, производить впечатлѣніе сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервныхъ, которымъ красные кирпичи напоминаютъ кровь и кровавые куски человѣческаго мяса. Небольшія, темныя плоскія окна съ желѣзными рѣшетками естественно завершаютъ это впечатлѣніе и всему цѣлому придаютъ характеръ угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже въ хорошиѣ дни, когда на нашу тюрьму свѣтить солнце, она не теряетъ вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминаетъ людямъ, что законы существуютъ и нарушителей ихъ ждетъ кара-кара-кара!

Моя камера находится на высотѣ пятаго этажа, и въ рѣшетчатое окно открывается прекрасный видъ на далекій городъ и часть пустыннаго поля, уходящаго направо; налево же, виѣп предѣловъ моего зрѣнія, продолжается предмѣстье города и находится, какъ мнѣ сказали, церковь съ прилегающимъ къ ней городскимъ кладбищемъ. О существованіи церкви и даже кладбища я зналъ, впрочемъ, и раньше

по печальному перезвону колоколовъ, какого требуетъ обычай при погребеніи умершихъ.

Вполнѣ соотвѣтствуя виѣшней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и цѣлесообразно. Чтобы яснѣе представить это моему читателю, я позволю себѣ привести примѣръ безумца, который вздумалъ бы убѣжать изъ нашей тюрьмы. Допустимъ, что смѣльчакъ обладаетъ сверхъестественной геркулесовской силой, и ломаетъ замокъ на своей двери — что онъ находить? Корридоръ, многократно прегражденный рѣшетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженныхъ надзирателей. Допустимъ, что онъ убивается всѣхъ надзирателей, ломаетъ всѣ двери и выбирается на дворъ — быть можетъ онъ думаетъ, что онъ уже на свободѣ? А стѣны? А стѣны, что трижды каменнымъ кольцомъ обиваютъ нашу тюрьму!

Допуская всю эту галиматию — я умышленно упустилъ изъ виду надзоръ. А надзоръ неусыпенъ. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь въ маленькое окошечко на двери за мною слѣдить чай то глазъ, контролируя мои движенія, читая на лицѣ моемъ мои мысли, мои намѣренія, наконецъ, мои сны. Днемъ я могу усыпить его вниманіе ложью, придавъ лицу выраженіе веселое и беззаботное, но я еще не встрѣчалъ почти человѣка, который могъ бы лгать и во снѣ. Какъ бы ни охранялъ я себя днемъ, ночью я выдаю себя невольнымъ стономъ, судорогой въ лицѣ, выражениемъ усталости и тоски и другими проявленіями совѣсти нечистой и беспокойной. Лишь очень немногіе люди, съ чрезвычайно сильной волей, умѣютъ лгать и во снѣ, искусно управляя мышцами лица, даже нерѣдко сохраняя привѣтливую и ясную улыбку на устахъ, въ то время, какъ душа ихъ, отданная во власть сновидѣній, трепещетъ ужасами чудовищного кошмара — но, какъ исключенія, они не могутъ приниматься въ соображеніе. И для меня является огромнымъ счастьемъ то, что я не преступникъ, что совѣсть моя спокойна и чиста: читай, мой другъ, чи-

тай — говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать — ты ничего не прочтешь на моем лицѣ!

Но въ одномъ случаѣ тотъ, кто наблюдаетъ за мной, сталъ невольнымъ повѣреннымъ моимъ: читатель догадывается, конечно, что рѣчь идеть о моей любви къ г-жѣ Н. Н. Долженъ, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, съ какою наблюдающей за мною удаляетъся отъ окна, замѣтивъ мое характерно возбужденное состояніе и извѣстивъ приготовленія. Очень возможно, впрочемъ, что это дѣлается по распоряженію г. Начальника, изъ естественного чувства благодарности, такъ какъ окошечко въ двери — мое изобрѣтеніе. Да, это я изобрѣлъ окошечко въ двери.

Я чувствую, что мой читатель удивленъ и недовѣрчиво улыбается, мысленно обзываю меня старымъ фанфарономъ и лгуномъ, — но есть случаи, гдѣ скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и въ своей простотѣ гениальное изобрѣтеніе принадлежитъ мнѣ такъ же, какъ Ньютону его биномъ, Кеплеру его законы вращенія свѣтиль.

Впослѣдствіи, поощренный успѣхомъ моего изобрѣтенія, я открылъ и ввелъ въ обиходъ тюрьмы цѣлый рядъ маленькихъ усовершенствованій, но они касались деталей: формы замковъ и т. п. и какъ всѣ другія, маленькая изобрѣтенія вились въ общее русло жизни, увеличивъ ея правильность и красоту, но не сохранивъ за собою имени автора. Между прочимъ, по моему совѣту, была измѣнена форма кандаловъ въ нашей тюрьмѣ: вместо прежнихъ колецъ, я ввелъ двойное полуovalное кольцо, представляющее собою въ чистомъ видѣ тотъ знакъ, который въ математикѣ символизируетъ безконечность ∞; впрочемъ, это изобрѣтеніе относится скорѣе къ области философскаго, такъ сказать, щегольства, такъ какъ практически прежняя неумныя кольца съ успѣхомъ выполняли свое назначение. Окошечко же въ двери мое, и всякаго, кто осмѣлитсѧ отрицать это, я назову лжецомъ и негодяемъ.

Пришелъ я къ моему изобрѣтенію при слѣдующихъ об-

стоятельствахъ: однажды, во время повѣрки, нѣкій арестантъ желѣзной ножкой отъ кровати убилъ вошедшаго къ нему надзирателя. Конечно, негодяя повѣсили на дворѣ нашей же тюрьмы, и администрація легкомысленно успокоилась, но я былъ въ отчаяніи: великая цѣлесообразность тюремы оказывалась мнѣ мой, разъ возможны такие во-плющіе факты. Какъ можно было не замѣтить, что арестантъ отломалъ ножку отъ своей кровати? Какъ можно было не замѣтить, наконецъ, того несомнѣнно возбужденного состоянія, въ какомъ онъ долженъ быть находиться передъ совершеніемъ убийства и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовалъ, дало бы возможность предотвратить происшедшее?

Поставивъ вопросъ столь точно и прямо, я уже тѣмъ самымъ значительно приблизился къ рѣшенію загадки; и дѣйствительно, по прошествіи двухъ или трехъ недѣль, я совершенно просто и даже какъ будто неожиданно пришелъ къ моему великому изобрѣтенію. Сознаюсь откровенно, что до сообщенія моего изобрѣтенія г. Начальнику тюрьмы, я пережилъ минуты нѣкотораго колебанія, весьма естествен-наго въ моемъ положеніи узника. Читателю, который все же удивится этому колебанію, зная меня за человѣка съ чистой и незапятнанной совѣстью, я отвѣчу цитатой изъ моего «Дневника заключеннаго», относящейся къ тому времени (1 сентября 18..):

«Какъ затруднительно положеніе человѣка, осужденного безвинно, подобно мнѣ. Если онъ печаленъ, если уста его скованы молчаніемъ и глаза опущены долу, про него говорять: онъ раскаивается, онъ мучается угрызеніями совѣсти. Если въ невинности сердца своего онъ улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслить: вотъ, лживой и притворной улыбкой想要 онъ сокрыть свою зловѣщую тайну. Что бы онъ ни дѣлалъ, онъ кажется виновнымъ — такова сила предвзятости, съ которой предстоить мнѣ бороться. Но я невиненъ, и буду самимъ собою, въ твердой увѣрен-

ности, что ясность духа моего разрушить злые чары предубеждения.»

И уже на следующий день г. Начальникъ тюрьмы горячо жалъ мнѣ руки, выражая свою признательность, а черезъ мѣсяцъ на всѣхъ дверяхъ, во всѣхъ тюремахъ государства темнѣли маленькая отверстія, открывая поле для широкихъ и плодотворныхъ наблюденій. Я же радовался глубоко съ сознаніемъ, что если въ цѣлесообразности тюрьмы и существуютъ нѣкоторые пробѣлы, то не потому, чтобы въ основѣ его лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человѣка; но чего не можетъ сдѣлать одинъ, то дѣлаетъ другой, и такъ въ совместной, дружной работе движется человѣчество къ осуществленію великихъ завѣтovъ разума и строгихъ предначертаній неумолимой справедливости.

Глубокое удовлетвореніе даетъ мнѣ весь распорядокъ нашей тюремной жизни. Часы вставанія и сна, обѣда и прогулокъ расположены столь рационально, въ такомъ соотвѣтствіи съ истинными потребностями природы, что уже вскорѣ теряютъ характеръ нѣкоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этимъ могу объяснить тотъ интересный фактъ, что будучи на свободѣ юношой нервнымъ и слабосильнымъ, склоннымъ къ простудамъ и заболѣваніямъ, въ нашей тюрьмѣ я значительно окрѣпъ и для своихъ 60 лѣтъ пользуюсь завиднымъ здоровьемъ. Я не толстъ, но и не худъ, имѣю сильныя легкія и сохранилъ почти все зубы, за исключеніемъ двухъ коренныхъ съ лѣвой стороны челюсти; характеръ у меня прекрасный, ровный, сонъ крѣпкій, почти безъ сновидѣній. Фигурою своею, въ которой преобладающимъ является выраженіе спокойной силы и увѣренности, а также и лицомъ я напоминаю нѣсколько Микель-Анджеловскаго Моисея — такъ говорять, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ моихъ любезныхъ посѣтителей.

Но еще болѣе, нежели правильный и здоровый режимъ, укрепленію души моей и тѣла содѣйствовала та удивитель-

ная, и вмѣстѣ совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой изъ жизни ея совершенно устраниенъ элементъ случайного и неожиданного. Не имѣя ни семьи, ни друзей, я совершенно избавленъ отъ тѣхъ гибельныхъ для жизни потрясеній, какія приносить съ собою измѣна, болѣзнь, наконецъ, смерть близкихъ — пусть вспомнитъ мой благосклонный читатель, какъ много людей погибло на его глазахъ не черезъ себя, а лишь вслѣдствіе того, что капризная судьба связала ихъ съ людьми недостойными. Не размѣнивая своего чувства любви на мелкія личные привязанности, я тѣмъ самымъ, одновременно, освобождаю его для широкой и мощной любви къ человѣчеству; а такъ какъ человѣчество бессмертно, не подвержено болѣзнямъ и въ гармоничномъ цѣломъ своемъ, несомнѣнно, движется къ совершенству, то и любовь къ нему является наиболѣе вѣрной гарантіей душевнаго и тѣлеснаго здоровья.

Мой день ясенъ; и столь же ясны, какъ онъ, всѣ грядущіе дни, ровной и свѣтлою чередою плывущіе ко мнѣ навстрѣчу. Ко мнѣ не ворвется корыстный убійца, меня не раздавить шальной автомобиль, на меня не свалится болѣзнь ребенка, ко мнѣ не подкрадется изъ темноты жестокое предательство — моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и свѣтла. Ясныя и точныя правила нашей тюрьмы опредѣляютъ все, чего не долженъ я дѣлать, избавляя меня отъ тѣхъ несносныхъ колебаній, сомнѣній и ошибокъ, которыми таکъ чревата практическая жизнь. Правда, и въ нашу тюрьму, сквозь ея высокія стѣны, проникаетъ иногда вѣяніе того, что люди невѣжественные называютъ случаемъ или даже Рокомъ, и что является только необходимымъ отраженіемъ общихъ законовъ; но потрясенная временно жизнь быстро возвращается въ свое обычное русло, какъ рѣка послѣ разлива. Къ этой категоріи случайностей нужно отнести упомянутое выше убійство надзирателя, рѣдкія и всегда неудачные попытки къ бѣгству, а также смертныя казни, аrenoю которыхъ является одинъ изъ отдаленнѣйшихъ дворовъ нашей тюрьмы.

Но и здѣсь я долженъ отдать справедливость той мудрой цѣлесообразности, съ какою проводятся казни: совершаясь обычно на разсвѣтѣ, въ пору наиболѣе крѣпкаго сна, въ надлежащемъ разстояніи отъ нашихъ камеръ, онѣ не нарушаютъ покоя лицъ стороннихъ и незаинтересованныхъ. Только однажды, на разсвѣтѣ, мнѣ послышался чей то взволнованный крикъ, но очень возможно, что я ошибся, принявъ за призывъ о помощиочной вопль какого либо животнаго, или перенеся въ дѣйствительность отрывокъ собственнаго сна.

Наконецъ, есть еще одна особенность въ строѣ нашей тюрьмы, которую я считаю наиболѣе плодотворною, всему цѣлому придающей характеръ суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себѣ, и только себѣ, узникъ не можетъ разсчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадаетъ на долю людей слабыхъ, сохрания ихъ и для жизни и тѣмъ самымъ, искажая основныя цѣли природы. Признаюсь, не безъ нѣкоторой гордости помышляю я о томъ, что если сейчасъ я пользуюсь общимъ уваженіемъ и преклоненіемъ, если мозгъ мой силенъ, воля крѣпка, взглядъ на жизнь ясенъ и свѣтель, то этимъ я обязанъ только себѣ, своей силѣ и настойчивости. Сколько людей слабыхъ погибло бы на моемъ мѣстѣ жертвою безумія, отчаянія, тоски — а я побѣдилъ все! Я перевернуль міръ; моей душѣ я придалъ ту форму, какой пожелала моя мысль; въ пустынѣ, работая одинъ, изнемогая отъ усталости, я воздвигъ стройное зданіе, въ которомъ живу нынѣ радостно и покойно — какъ царь. Разрушьте его — и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавымъ потомъ, построю его! Ибо я долженъ жить.

Да простится мнѣ невольный пафосъ послѣднихъ строкъ, столь неидущихъ къ моему уравновѣшенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надѣюсь, впрочемъ, что въ будущемъ я не омрачу настроенія моего читателя какими либо вспышками

взволнованного чувства. Кричить только тотъ, кто не уверенъ въ правдѣ своихъ словъ; истинѣ же подобаетъ спокойная твердость и холодная простота.

P. S. Не помню, говорилъ я или нѣть, что злодѣй, умертвившій моего отца до сихъ поръ еще не найденъ.

V.

Время отъ времени, отступая отъ спокойной формы исторического повѣствованія, я долженъ останавливаться на текущемъ моментѣ. Такъ позволю себѣ въ немногихъ строкахъ познакомить моего читателя съ довольно интереснымъ экземпляромъ человѣческой породы, обрѣтеннымъ мною случайно въ нѣдрахъ нашей тюрьмы. Поводомъ къ знакомству послужило слѣдующее обстоятельство. На дняхъ въ послѣ-обѣденную пору ко мнѣ изволилъ пожаловать г. Начальникъ для обычной бесѣды, и между прочимъ сказалъ, что въ тюрьмѣ содержится въ настоящее время одинъ очень несчастный человѣкъ, на котораго я могъ бы оказать благотворное вліяніе. Я любезно выразилъ мою полную готовность, и вотъ уже нѣсколько дней подрядъ, съ разрѣшенія г. Начальника, я подолгу бесѣдую съ художникомъ К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, съ какою онъ, къ прискорбію моему, встрѣтилъ меня при первомъ визитѣ, нынѣ совершенно исчезла подъ вліяніемъ моихъ рѣчей. Охотно и съ интересомъ выслушивая мои, всегда умироворяющія слова, онъ постепенно, послѣ цѣлаго ряда настойчивыхъ вопросовъ, рассказалъ мнѣ свою, довольно необычную исторію.

Это господинъ, лѣтъ двадцати шести-восьми, съ пріятной внѣшностью и вполнѣ приличными манерами, свидѣтельствующими о хорошемъ воспитаніи. Нѣкоторая вполнѣ, впрочемъ, естественная несдержанность въ рѣчахъ, страстная порывистость, съ какой онъ разсказываетъ о себѣ, порою горькій даже ироническій смѣхъ, а вслѣдъ затѣмъ тяжелая задумчивость, изъ которой съ трудомъ удается его извлечь даже прикосновеніемъ руки — дополняютъ обликъ моего

новаго знакомца. Мнѣ лично онъ не особенно симпатиченъ, и, какъ ни странно, особенно непріятно дѣйствуетъ на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собесѣдника.

О своей прошлой жизни г. К. рассказалъ мнѣ очень мало.

— Ну, что тамъ! Былъ художникъ, вотъ и все — повторяетъ онъ съ досадливой гримассой и совершенно отказывается говорить о томъ «безнравственномъ дѣяніи», за которое присужденъ къ одиночному заключенію.

— Я не хочу развращать васъ, дѣдушка, живите себѣ честно — шутить онъ съ нѣсколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственno изъ желанія сдѣлать пріятное г. Начальнику тюрьмы, выпытавъ у узника дѣйствительную причину его страданій, принимающихъ иногда тяжелую форму буйства и угрозъ. И дѣйствительно, въ одну изъ тяжелыхъ минутъ, когда воля къ сопротивленію у г. К. ослабѣла, въ силу томящей его безсонницы, я пріѣхъ къ нему на кровать, нѣсколько приласкалъ его и вообщѣ отнесся къ нему съ такой отеческой мягкостью, что тутъ же онъ выболталъ все. Не желая утомлять читателя точнымъ воспроизведеніемъ его истерическихъ выкриковъ, хохота и слезъ, я передамъ лишь содержаніе его разсказа. Горе г. К., въ началѣ для меня не совсѣмъ понятное, заключается въ томъ, что для рисованія ему даютъ не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель. (Междu прочимъ, поразительно искусство, съ какимъ онъ овладѣлъ новымъ для него материаломъ: я видѣлъ нѣкоторыя его произведенія, и, какъ мнѣ кажется, онъ могутъ удовлетворить вкусу самого строгаго знатока графическихъ искусствъ; впрочемъ, я лично къ живописи равнодушенъ, предпочтая ей живую и правдивую природу.) Такимъ образомъ, благодаря свойству материала, прежде чѣмъ начать новую картину, г. К. долженъ уничтожить прежнюю, начисто стерши ее съ грифельной доски; и это, будто бы, каждый разъ доводить его почти до сумасшествія. —

— Вы не можете себѣ представить, что это значитъ,
— разсказывалъ онъ, хватая мои руки своими тонкими,
цѣпкими пальцами, — пока я рисую, я, знаете, совсѣмъ
забываю, что это безцѣльно, бываю очень весель и даже
что то тамъ такое свищу и разъ даже сидѣль за это въ
карцерѣ, какъ въ вашей проклятой тюрьмѣ и свистѣть
нельзя. Но это пустяки, я тамъ выспался по крайней мѣрѣ.
А вотъ когда кончу . . . нѣть, даже только когда подхожу
къ концу, тутъ наступаетъ, дѣдушка, такое ужасное, что
хочется вырвать изъ головы своей мозгъ и топтать его но-
гами. Вы понимаете меня?

— Понимаю, мой другъ, вполнѣ понимаю и сочувству-
вамъ.

— Ей Богу? Ну, такъ слушайте, дѣдушка. Уже
послѣдніе штрихи я провожу съ такою болью, съ такой
тоской и безнадежностью, какъ будто навсегда прощаюсь
съ самымъ любимымъ человѣкомъ. Но вотъ кончилъ —
вы понимаете, что это значитъ? Это значитъ, что оно ожило,
оно живеть, что въ немъ уже есть своя таинственная жизнь.
И въ то же время оно обречено уже на смерть, оно уже
умерло, оно уже мертвъ, какъ селедка, — вы можете что-
нибудь въ этомъ понять? Я ничего не понимаю. И вотъ вы
представьте, я все-таки, глупецъ, радуюсь, плачу и радуюсь.
Нѣть, думаю, этого ужъ я не уничтожу, пусть живеть. И правда, мнѣ въ
это время ничего нового и писать не хочется, совсѣмъ не
хочется. А все-таки страшно — вы понимаете меня?

— Вполнѣ, мой другъ. Несомнѣнно, на другой день
рисунокъ перестаетъ вамъ нравиться . . .

— Фу, дѣдушка, какую ерунду вы городите! (Онъ такъ
именно и выразился «ерунду».) Какъ можетъ разонравиться
умирающій ребенокъ? Ну, конечно, еслибъ онъ пожилъ,
изъ него вышелъ бы настоящій подлецъ, а когда онъ умира-
етъ . . . Нѣть, не то, дѣдушка, не то. Вѣдь я самъ его
убиваю. Цѣлую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него
и такъ его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть?

А я почемъ знаю. А какъ наступить утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова долженъ взять этотъ проклятый грифель и снова творить. Какая насыщка, творить! Да что я, каторжникъ что ли?

— Мой другъ, вы действительно находитесь въ каторжной тюрьмѣ.

— Дѣдушка, дѣдушка! Когда я начинаю съ губкой подкрадываться къ доскѣ, такъ вѣдь я же на убийцу похожъ. Случается день, два хожу я около него . . . знаете, я разъ палецъ себѣ на правой рукѣ обкусалъ, чтобы не писать, ну и, конечно, пустяки, потому что началъ учиться лѣвой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мученія, творить, зна, что все это погибнетъ, вы понимаете это?

— Кончайте, мой другъ, не волнуйтесь, потомъ я изложу мой взглядъ.

Къ сожалѣнію, мой совѣтъ едва ли даже достигъ ушей г. К. Въ одномъ изъ тѣхъ пароксизмовъ отчаянія, которые такъ напугали г. Начальника тюрьмы, онъ началъ биться на постели, рвать на себѣ одежду, кричать и плакать, вообще проявилъ всѣ признаки крайняго огорченія. Съ глубокимъ волненіемъ смотрѣлъ я на муки несчастнаго молодого человѣка (по сравненію съ собой я могъ бы назвать его юношой), тщетно пытаясь удержать его пальцы, разрывавшіе одежду — я зналъ, что за это нарушеніе дисциплины его ждетъ новый карцеръ. «О, пылкая юность, — подумалъ я, когда онъ нѣсколько успокоился, и я ласково разбиралъ рукою его тонкіе спутавшіеся волосы — какъ легко ты впадаешь въ отчаяніе! Какой то рисунокъ, который въ концѣ концовъ, быть можетъ, пропалъ бы у грязнаго старьевщика, торговца старой бронзой и склееннымъ фарфоромъ, можетъ причинить тебѣ столько страданій!» Но, конечно, я не сказалъ этого моему юному другу, стараясь, какъ и нужно въ такихъ случаяхъ, не раздражать его излишними противорѣчіями.

— Спасибо вамъ, дѣдушка, — сказалъ г. К., видимо

успокоившись. — Говоря по правдѣ, вы показались мнѣ сначала очень страннымъ: лицо у васъ такое почтенное, а въ глазахъ . . . Вы никого не убивали, дѣдушка?

Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, какъ въ глазахъ людей легкомысленныхъ и неглубокихъ печать тѣжкаго обвиненія превращается въ печать самого злодѣйства. Сдержанавъ чувство горечи, я спокойно замѣтилъ дерзкому юношѣ:

— Вы художникъ, дитя мое, вамъ вѣдомы тайны человѣческаго лица, этой гибкой, подвижной и измѣнчивой маски, принимающей, подобно морю, отраженіе бѣгущихъ облаковъ и голубого эфира. Будучи зеленої, морская влага голубѣть подъ яснымъ небомъ и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелыя тучи. Чего же вы хотите отъ моего лица, надъ которымъ тридцать лѣтъ тяготѣть обвиненіе въ жесточайшемъ злодѣйствѣ?

Но занятый своими мыслями, художникъ не обратилъ, повидимому, особенного вниманія на мои слова и продолжалъ упавшимъ голосомъ:

— Что же мнѣ дѣлать? Вы видѣли тотъ мой рисунокъ — я его уничтожилъ, и вотъ уже цѣлую недѣлю не берусь за грифель. Конечно, — продолжалъ онъ раздумчиво, потирая лобъ, — лучше бы совсѣмъ разбить доску, тогда въ наказаніе мнѣ не дали бы новую . . .

— Вы лучше просто возвратите ее начальству.

— Ну, хорошо, продержусь я еще недѣлю, а потомъ? Вѣдь я же знаю себя. Вѣдь уже сейчасъ этотъ дьяволъ подталкиваетъ мою руку: возьми грифель, возьми грифель.

Какъ разъ въ это время, блуждая разсѣяннымъ взглядомъ по камерѣ, я вдругъ замѣтилъ, что часть платья художника, висѣвшаго на стѣнѣ, неестественно раздвинута и одинъ конецъ искусно прихваченъ спинкою кровати. Сдѣлавъ видъ, что я усталъ и просто хочу пройтись по камерѣ, я пошатнулся какъ бы отъ старческой дрожи въ ногахъ и отдернулъ одежду: вся стѣна за ней была испещрена рисунками!

Художникъ уже вскочилъ съ постели, и тамъ мы молча стояли другъ противъ друга. Съ мягкой укоризной я сказалъ:

— Какъ вы могли себѣ позволить это, мой другъ! Вѣдь вы же знаете правила тюрьмы, по которымъ никакія надписи и рисунки на стѣнахъ не допускаются!

— Не знаю я никакихъ правилъ! — угрюмо сказалъ господинъ К.

— И потомъ — уже строго продолжалъ я, — вы солгали мнѣ, мой другъ. Вы сказали, что уже цѣлую недѣлю вы не брали грифеля въ руки . . .

— Конечно, не браль — съ странной насмѣшкой и даже вызовомъ сказалъ художникъ. Вообще, даже будучи уличенъ, онъ совершенно не обнаруживалъ признаковъ раскаленія и смотрѣлъ скорѣй насмѣшливо, чѣмъ виновато. Вглядѣвшись пристальнѣе въ рисунки на стѣнѣ, изображавшіе какихъ то человѣчковъ въ разнообразныхъ позахъ, я заинтересовался страннымъ буровато-желтымъ цвѣтомъ невѣдомаго карандаша.

— Это іодъ? Вы сказали, что у васъ что-нибудь болитъ и достали іоду?

— Нѣть, кровь.

— Кровь?

— Да.

Скажу откровенно, въ эту минуту онъ мнѣ даже понравился.

— Какъ вы добыли ее?

— Изъ руки.

— Изъ руки? Но какъ же вы сумѣли укрыться отъ наблюдающаго за вами въ глазокъ?

Онъ хитро улыбнулся и даже подмигнулъ.

— А вы развѣ не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?

Мои симпатіи сразу разсѣялись: я видѣлъ передъ собою не особенно умнаго и вѣроятно уже сильно испорченаго человѣка, даже не допускающаго мысли, что существуютъ люди,

которые не въ состояніи и просто не умѣютъ лгать. Помня, однако, данное мною г. Начальнику обѣщаніе, я принялъ видъ спокойнаго достоинства и ласково, какъ только мать могла бы говорить своему ребенку, сказалъ ему:

— Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой другъ. Я стариkъ, полъ жизни проведшій въ этой тюрьмѣ, у меня уже сложились извѣстныя привычки, какъ у всѣхъ старииковъ и, самъ подчиняясь правиламъ, я, быть можетъ, нѣсколько преувеличенно требую того же отъ другихъ. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки — какъ мнѣ ихъ ни жаль, ибо они искренне восхищаются меня — и я ничего не скажу администраціи. И мы все это забудемъ, какъ будто не было ничего. Хорошо?

Онъ взяло отвѣтилъ:

— Хорошо.

— По существу же вопроса я скажу вамъ слѣдующее. Въ нашей тюрьмѣ, гдѣ въ настоящую минуту мы имѣемъ печальное удовольствіе находиться, все построено по крайне цѣлесообразному плану и строжайше подчинено законамъ и правиламъ. И то, весьма строгое, сознаюсь, распоряженіе, въ силу которого такъ кратковременно и, скажу, эфемерно существованіе вашихъ твореній, преисполнено глубочайшей мудрости. Предоставляя вамъ совершенствоваться въ вашемъ искусствѣ, оно въ то же время благоразумно ограждаетъ другихъ людей отъ вреднаго, быть можетъ, вліянія вашихъ произведеній, и, во всякомъ случаѣ, логически заканчиваетъ, довершаетъ, укрѣпляетъ и выясняетъ значеніе вашего одиночного заключенія. Что значитъ одиночное заключеніе въ нашей тюрьмѣ? Это значитъ, что человѣкъ одинъ. А будетъ ли онъ одинъ, если произведеніями своими, такъ или иначе, будетъ дѣлиться со сторонними лицами?

По выражению лица г-на К., я замѣтилъ съ чувствомъ глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатлѣніе, изъ области поэтическихъ вымысловъ возвративъ его въ страну суровой, но прекрасной дѣйствительности. И возвысивъ голосъ, я продолжалъ:

— Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя дѣлать ни надписей, ни рисунковъ на стѣнахъ нашей тюрьмы, то и оно не менѣе логично. Пройдутъ годы, на вашемъ мѣстѣ окажется, быть можетъ, такой же узникъ, какъ и вы, и увидѣть начертанное вами — развѣ это допустимо! Подумайте! И во что бы, наконецъ, превратились стѣны нашей тюрьмы, если бы каждый желающій оставлялъ на нихъ свои кощунственные слѣды!

— Къ чорту!

Такъ, именно такъ выразился г-нъ К. И сказалъ онъ это громко и даже какъ будто спокойно.

— Что ты хочешь этимъ сказать, мой юный другъ?

— Хочу сказать, что ты можешь издыхать здѣсь, мой старый другъ, а я отсюда уйду.

— Изъ нашей тюрьмы бѣжать нельзя — сурово возразилъ я.

— А вы пробовали?

— Да. Пробовалъ.

Онъ съ недовѣріемъ посмотрѣлъ на меня и усмѣхнулся. Онъ усмѣхнулся!

— Вы трусь, дѣдушка. Вы просто жалкій трусь.

Я — трусь! О, еслибы этотъ самодовольный щенокъ зналъ, какую бурю гнѣва поднялъ онъ въ моей душѣ — онъ завизжалъ бы отъ страха и спрятался подъ кровать. Я — трусь! Міръ обрушился мнѣ на голову, и не раздавилъ меня, и изъ его страшныхъ обломковъ я создалъ новый міръ — по моему чертежу и плану; всѣ злые силы жизни: одиночество, тюрьма, измѣна и ложь, всѣ ополчились на меня — и всѣ ихъ я подчинилъ своей волѣ. И я, подчинившій себѣ даже сны, я — трусь!.. Впрочемъ не буду утомлять вниманіе моего любезнаго читателя этими лирическими отступленіями, не идущими къ дѣлу. Продолжаю.

Послѣ нѣкотораго молчанія, нарушенаго лишь громкимъ дыханіемъ г-на К., я грустно сказалъ ему:

— Я — трусь! И это вы говорите человѣку, который пришелъ съ единственной цѣлью — помочь вамъ! Помочь

не только словомъ, къ которому вы, къ сожалѣнію, безучастны, но и дѣломъ.

— Помочь? Какимъ же это образомъ?

— Я достану вамъ бумагу и карандашъ.

Художникъ молчалъ. И голосъ его былъ тихъ и робокъ, когда онъ спросилъ, запинаясь:

— И . . . рисунки мои . . . останутся?

— Да, останутся.

Трудно передать тотъ буйный восторгъ, которому отдался экзальтированный юноша: ни въ горѣ, ни въ радости не знаетъ границъ наивная и чистосердечная юность. Онъ горячо жаль мнѣ руки, тормошилъ меня, беспокоя мои старыя кости, называлъ меня другомъ, отцомъ, даже «милой старой мордашкой» (!) и тысячью другихъ ласковыхъ и нѣсколько наивныхъ словъ. Къ сожалѣнію, бесѣда наша затянулась, и несмотря на уговоры юноши, не желавшаго разстаться со мной, я поторопился къ себѣ.

Къ г. Начальнiku тюрьмы я не пошелъ, такъ какъ чувствовалъ себя нѣсколько взволнованнымъ. До глубокой ночи, какъ въ ту далекую пору, я шагалъ по камерѣ, стараясь понять, какой способъ бѣжать изъ нашей тюрьмы, неизвѣстный мнѣ, открылъ этотъ, далеко неумный юноша. Не ужели изъ нашей тюрьмы можно бѣжать? Нѣтъ, я допустить этого не могу, я не долженъ этого допускать. И постепенно возстановляя въ памяти все, что я зналъ о нашей тюрьмѣ, я понялъ, что г. К. напалъ на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способъ, въ неосуществимости которого убѣдится такъ же, какъ и я. Изъ нашей тюрьмы бѣжать невозможно.

Но еще долго, терзаемый сомнѣніями, измѣрялъ я шагами мою одинокую камеру, придумывая различные планы, какъ облегчить положеніе г-на К. и тѣмъ на всякий случай отвлечь его отъ мысли о бѣгствѣ: ни въ какомъ случаѣ онъ не долженъ бѣжать изъ нашей тюрьмы. Затѣмъ я предался спокойному и глубокому сну, какимъ благодѣтель-

ная природа наградила людей съ чистой совѣстю и ясною душою.

Между прочимъ, чтобы не забыть, упомяну, что въ эту ночь я уничтожилъ мой «Дневникъ заключенного». Уже давно я собирался сдѣлать это, но та естественная жалость и малодушная любовь, которую мы питаемъ даже къ нашимъ ошибкамъ и недостаткамъ, удерживала меня; къ тому же, въ «Дневникѣ» не было ничего предосудительного, что могло бы такъ или иначе компрометировать меня. И если теперь я уничтожилъ его, то единственно изъ желанія предать полному забвенію мое прошлое и избавить возможнаго читателя отъ скуки длинныхъ жалобъ и стенаній, отъ ужаса кощунственныхъ проклятій. Да почтеть въ мирѣ!

VI.

Передавъ г-ну Начальнику тюрьмы содержаніе моей бесѣды съ г-номъ К., я попросилъ не подвергать его взысканію за испорченныя стѣны, чтобы этимъ не выдать меня, и предложилъ слѣдующій планъ спасенія бѣднаго юноши, принятый г-номъ Начальникомъ послѣ нѣкоторыхъ чисто, впрочемъ, формальныхъ возраженій.

— Ему важно, — сказалъ я, — чтобы рисунки его сохранялись, — а въ чьихъ рукахъ они находятся, это, повидимому, для него безразлично. Пусть же онъ, пользуясь своимъ искусствомъ, сдѣлаетъ вашъ портретъ, г. Начальникъ, а затѣмъ всего низшаго персонала. Не говоря о чести, которую вы окажете ему этимъ снисхожденiemъ, чести, которую онъ навѣрное сумѣеть оцѣнить, рисунокъ можетъ оказаться не безполезнымъ и для васъ, какъ весьма оригинальное украшеніе вашей гостиной или кабинета. Наконецъ, ничто не мѣшаетъ намъ уничтожить рисунки, если мы этого захотимъ, такъ какъ наивный и нѣсколько самовлюбленный юноша даже не допускаетъ, вѣроятно, мысли, чтобы чья-нибудь рука поднялась на его произведенія.

Улыбнувшись, г. Начальникъ, съ крайней, весьма польстившей меня вѣжливостью, предложилъ, чтобы серія портретовъ была начата съ меня. Привожу дословно то, что сказалъ мнѣ г. Начальникъ:

— Ваше лицо такъ и просится на полотно. Мы повѣсимъ вашъ портретъ въ канцеляріи.

Не иначе, какъ яростью творчества, могу я назвать ту страстную молчаливую возбужденность, съ какой г-нъ К. воспроизводилъ мои черты. Обычно болтливый, здѣсь онъ молчалъ цѣлыми часами, оставляя безъ отвѣта мои шутки и указанія.

— Молчите! молчите! — почти кричалъ онъ на меня, не обращая вниманія на мои слова, что когда я молчу, мое лицо принимаетъ выраженіе несвойственной мнѣ мрачности; и только добродушный благосклонный смѣхъ могъ бы передать истинный его характеръ.

— Молчите, дѣдушка, молчите — вы лучше всего, когда молчите, — настойчиво повторялъ онъ, вызывая невольную улыбку передъ своимъ увлечениемъ профессионала.

Мой портретъ, приложенный къ настоящей книгѣ, напомнить вамъ, благосклонный читатель, о томъ загадочномъ свойствѣ художниковъ, по которому очень часто собственные чувства, даже внѣшнія черты они переносятъ на объектъ своего творчества. Такъ, съ поразительнымъ сходствомъ передавъ нижнюю часть моего лица, гдѣ столь гармонически сочетаются добродушіе съ выраженіемъ авторитетности и спокойнаго достоинства, г-нъ К. несомнѣнно перенесъ въ мои глаза свою собственную муку и даже ужасъ. Ихъ остановившійся, застывшій взглядъ, мерцающее гдѣ то въ глубинѣ безуміе, мучительное краснорѣчіе души бездонной и беспредѣльно одинокой, — все это не мое.

— Да развѣ это я? — воскликнулъ я со смѣхомъ, когда съ полотна на меня взглянуло это страшное, полное дикихъ противорѣчій лицо. — Мой другъ, съ этимъ рисункомъ я вѣсть не поздравляю. Мнѣ онъ не кажется удачнымъ.

— Вы, дѣдушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повѣсите?

Онъ снова сталъ болтливъ, какъ сорока, этотъ милый юноша, и все лишь потому, что его жалкая мазня сохранится на нѣкоторое время. О пылкая, о счастливая юность! Здѣсь я не могъ воздержаться отъ маленькой шутки, имѣвшей цѣлью нѣсколько проучить самоувѣреннаго юнца; и съ улыбкой спросилъ:

— Ну, какъ же по вашему, г. художникъ, убійца я или нѣть?

Художникъ, прищуривъ одинъ глазъ, другимъ критически оглядѣлъ меня и портретъ. И, насвистывая какую то польку, небрежно отвѣтилъ:

— А чортъ васъ знаетъ, дѣдушка!

Я улыбался. Г. К. понялъ, наконецъ, мою шутку, засмѣялся и затѣмъ съ внезапною серьезностью сказалъ:

— Вотъ вы говорите: человѣческое лицо, а знаете вы, что нѣть на свѣтѣ ничего хуже человѣческаго лица? Даже говоря правду, даже крича о правдѣ, оно лжеть, лжеть, дѣдушка, потому что говорить на своеи языкѣ. Знаете, дѣдушка, со мной былъ ужасный случай, это было въ одной картинной галлереѣ въ Испаніи, я разсмотривалъ Христа и вдругъ . . . Христосъ, ну вы понимаете, Христосъ: огромные глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь — ну, однимъ словомъ Христосъ. И вдругъ меня ударило: вдругъ мнѣ показалось, что это — величайшій преступникъ, томимый величайшими, неслыханными муками раскаянія . . . Дѣдушка, что вы такъ смотрите на меня? Дѣдушка!

Приблизивъ свои глаза къ самому лицу художника, я осторожнымъ шопотомъ, какъ того требовали обстоятельства, спросилъ его медленно, раздѣляя каждое слово:

— Не думаете ли вы, что когда Дьяволъ искушалъ Его въ пустынѣ, то Онъ не отрекся отъ него, какъ потомъ рассказывалъ, а согласился, продалъ себя — не отрекся, а продалъ, понимаете? Не кажется ли вамъ это мѣсто въ Евангелии сомнительнымъ?

На лицѣ моего юнаго друга выразился чрезвычайный испугъ; обѣими ладонями упершись въ мою грудь, какъ бы отталкивая меня, онъ произнесъ такимъ тихимъ голосомъ, что я едва могъ разобрать его невнятныя слова:

— Что такое? Что вы говорите: Иисусъ — продался...
Зачѣмъ?

Я тихо пояснилъ:

— А чтобы люди, дитя мое, чтобы люди повѣрили въ Него.

— Ну?!

Я улыбался. Глаза г-на К. стали круглые, какъ будто его душила петля; и вдругъ, съ тѣмъ неуваженiemъ къ старости, которое отличало его, онъ рѣзкимъ толчкомъ свалилъ меня на кровать и самъ отскочилъ въ уголь. Когда же я съ медленностью, естественной для моего возраста, стала выбираться изъ неудобнаго положенія, въ какое поставила меня несдержанность этого юнца (я упалъ навзничь, головою между подушкой и спинкою кровати), онъ громко закричалъ на меня:

— Не смѣй?! Не смѣй вставать! Дьяволъ!

Но я и не думалъ вставать; я только сѣлъ на кровати, и уже сидя, съ невольной усмѣшкой надъ горячностью юноши, добродушно покачалъ головою и засмѣялся:

— Ахъ, юноша, юноша! Вѣдь вы же сами вовлекли меня въ этотъ богословскій разговоръ.

Но онъ упрямо таращилъ на меня свои глаза и твердилъ.

— Сидите, сидите! Я этого не говорилъ. Нѣть, нѣть!

— Нѣть, это вы сказали, вы, мой юный другъ, вы. Помните, Италия, картичная галлерея... Ахъ, маленький шутникъ! Сказалъ и отказывается, насмѣхаясь надъ неуклюжей старостью. Ай-ай-ай!

Г. К. вдругъ опустилъ руки и тихо сознался:

— Да, это я сказалъ. Но вы, дѣдушка...

Не помню, впрочемъ, что онъ говорилъ потомъ: такъ трудно запомнить всю ребяческую болтовню этого доброго,

но къ сожалѣнію, слишкомъ легкомысленного молодого человѣка. Помню, только, что мы разстались друзьями, и онъ горячо жалъ мнѣ руки, выражая свою искреннюю признательность, даже называлъ меня, насколько помнится, своимъ «спасителемъ».

Междѣ прочимъ, мнѣ удалось убѣдить г-на Начальника, что портретъ даже такого человѣка, какъ я, но все же узника, не подобаетъ мѣсту столь торжественно официальному, какъ канцелярія нашей тюрьмы. И сейчасъ портретъ находится на стѣнѣ моей камеры, пріятно разнообразя нѣсколько холодную монотонность ея безупречно бѣлыхъ стѣнъ.

Оставивъ на время нашего художника, нынѣ увлекающагося портретомъ г-на Начальника тюрьмы, я перейду къ дальнѣйшему повѣствованію.

VII.

Моя душевная ясность, какъ я уже имѣлъ удовольствіе сообщить читателю, создала изрядный кругъ моихъ почитателей и почитательницъ. Не безъ понятнаго волненія расскажу о тѣхъ пріятныхъ часахъ задушевного разговора, которые назову я скромно: «Мои бесѣды».

Затрудняюсь объяснить, чѣмъ заслужилъ я это, но большинство приходящихъ относятся ко мнѣ съ чувствомъ глубочайшаго почтенія, даже преклоненія, и только немногіе являются съ цѣлью спора, всегда, впрочемъ, имѣющаго умѣренный и приличный характеръ. Обычно я усаживаюсь по серединѣ комнаты, въ мягкому и глубокому креслѣ, предоставленнымъ мнѣ на этотъ случай г-номъ Начальникомъ, слушатели же тѣсно окружаютъ меня и нѣкоторые, наиболѣе экзальтированные юноши и дѣвицы, усаживаются у моихъ ногъ.

Имѣя предъ собою аудиторію, болѣе чѣмъ на половину состоящую изъ женщинъ и вполнѣ единодушно настроенную въ мою пользу, я обычно обращаюсь не столько къ уму, сколько къ чуткому и правдивому сердцу. Къ счастью, я обладаю нѣкоторымъ ораторскимъ даромъ, а тѣ довольно

обычные въ ораторскомъ искусствѣ эффекты, къ которымъ прибѣгаютъ и прибѣгали всѣ проповѣдники, начиная вѣроятно съ Магомета, и которыми я умѣю пользоваться довольно недурно — позволяютъ мнѣ вліять на слушателей моихъ въ желаемомъ направлениі. Вполнѣ понятно, что передъ милыми слушательницами моими, я не столько мудрецъ, открывшій тайну желѣзной рѣшетки, сколько великій страдалецъ за несовсѣмъ имъ понятное, но правое дѣло; чуждаясь разсужденій отвлеченныхъ, онѣ съ жадностью ловить каждое слово сочувствія и ласки и отвѣчаютъ тѣмъ же. Предоставляя имъ любить меня и вѣрить въ мое непреложное познаніе жизни, я даю имъ счастливую возможность хотя бы на время уйти отъ холода жизни, ея мучительныхъ сомнѣній и вопросовъ.

Скажу откровенно безъ ложной скромности, которую я ненавижу, какъ лицемѣrie: бывали лекціи, когда самъ я, находясь въ состояніи паѳоса, вызывалъ въ моей аудиторіи чрезвычайно повышенное настроеніе у нѣкоторыхъ наиболѣе нервныхъ посѣтительницъ моихъ, переходившее въ истерический смѣхъ и слезы. Конечно, я не пророкъ, я просто скромный мыслитель, но едва ли кому-нибудь удастся убѣдить нѣкоторыхъ моихъ почитательницъ, что въ рѣчахъ моихъ нѣть пророческаго смысла и значенія.

Помню одну такую лекцію, имѣвшую мѣсто два мѣсяца тому назадъ. Въ эту ночь мнѣ, противъ обыкновенія, какъ то не спалось; можетъ быть просто потому, что была полная луна, вліяющая, какъ извѣстно, на сонъ и дѣлающая его прерывистымъ и тревожнымъ. Смутно помню то странное ощущеніе, какое испыталъ я, когда блѣдный дискъ луны показался за моимъ окномъ, и желѣзные квадраты черными зловѣщими линіями разрѣзали его на маленькие серебрянныя участки. «Значить и луна такъ же» думалъ я сквозь сонъ, прозрѣвая какую то новую огромную и важную истину, къ сожалѣнію, тотчасъ же забытую при полномъ пробужденіи.

И отправляясь на лекцію, я чувствовалъ себя утомленнымъ и склоннымъ скорѣе къ молчанию, нежели къ бесѣдѣ:

ночное видѣніе беспокоило меня. Но когда я увидѣлъ эти милыя лица, эти глаза, полные вѣры и горячей мольбы о дружескомъ совѣтѣ, когда я узрѣлъ передъ собою эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сѣва — мое сердце загорѣлось восторгомъ, жалостью и любовью. Минуя обычныя формальности, какими сопровождается встрѣча людей, отклонивъ отъ себя привѣтственно протянутыя руки, я, съ благословляющимъ жестомъ, которому умѣю придать особое величіе, обратился къ зрителямъ, взволнованнымъ уже однимъ видомъ моимъ.

— Прійдите ко мнѣ, — воскликнулъ я, — прійдите ко мнѣ вы всѣ ушедшия отъ той жизни: здѣсь, въ тихой обители, подъ святымъ покровомъ желѣзной рѣшетки, у моего любвеобильного сердца, вы найдете покой и отраду. Возлюбленныя мои чада, отдайте мнѣ вашу печальнную изстрадавшуюся душу, и я одѣну ее свѣтомъ, я перенесу ее въ тѣ благостныя страны, гдѣ никогда не заходитъ солнце извѣчной правды и любви!

Уже многіе начали плакать; но еще не настало время для слезъ и, прервавъ ихъ жестомъ отеческаго нетерпѣнія, я продолжалъ:

— Ты, милая дѣвушка, пришедшая изъ того міра, что называетъ себя свободнымъ — что за грустныя тѣни лежать на твоемъ миломъ прекрасномъ лицѣ? А ты, мой смѣлый юноша, почему такъ блѣденъ ты? Почему не упоеніе побѣдою, а страхъ пораженія вижу я въ твоихъ опущенныхъ глазахъ? И ты, честная мать, скажи мнѣ: какой вѣтеръ сдѣлалъ твои глаза красными? какой дождь, неистово бушующій, сдѣлалъ влажнымъ твое старческое лицо? какой снѣгъ такъ выбѣлилъ твои волосы — вѣдь они были темными когда то!

Но поднявшіяся плачь и вопли почти заглушили окончаніе моей рѣчи, да и самъ я, сознаюсь въ этомъ безъ стыда, смахнулъ съ глазъ не одну предательскую слезу. Не давъ окончательно утихнуть волненію, я возгласилъ голосомъ суро-вой и правдивой укоризны:

— Не оттого ли вы плачете, что темна ваша душа, пора-

жена несчастиями, ослеплена хаосомъ, обезкрылена сомнѣніями — отдайте же ее мнѣ, и я направлю ее къ свѣту, порядку и разуму. Я знаю истину! Я постигъ міръ! Я открылъ великое начало цѣлесообразности! Я разгадалъ священную формулу желѣзной рѣшетки! Я требую отъ васъ: поклянитесь мнѣ на холодномъ желѣзѣ ея квадратовъ, что отнынѣ безъ стыда и страха вы исповѣдуете мнѣ всѣ дѣла ваши, всѣ ошибки и сомнѣнія, всѣ тайные помыслы души и мечты вожделѣющаго тѣла!

— Клянемся! Клянемся! Клянемся! Спаси насть! Открой намъ правду! Возьми на себя наши грѣхи! Спаси насть! Спаси насть! — раздались многочисленныя воскликанія.

Долженъ упомянуть о печальномъ инцидентѣ, разыгравшемся какъ разъ на этой лекціи. Въ тотъ именно моментъ, когда возбужденіе достигло наивысшаго предѣла и уже открылись сердца, чтобы глаголать, нѣкій юноша, вида хмурого и озлобленного, громко воскликнулъ, обращаясь, повидимому, ко мнѣ:

— Лжецъ! Не слушайте его, онъ лжетъ!

Благосклонный читатель легко повѣритъ, что лишь съ большимъ трудомъ удалось мнѣ спасти неосторожнаго отъ ярости собравшихся: оскорблѣнныя въ томъ самомъ цѣнномъ, что есть у человѣка, въ его вѣрѣ въ добро и божественный смыслъ жизни, слушательницы мои толпою накинулись на безумца и, еще одна минута, подвергли бы его жестокому избиению. Памятая, однако, что больше радости у пастыря объ одномъ грѣшникѣ раскаявшемся, нежели о десяти праведникахъ, я отвелъ юношу въ сторону, гдѣ бы никто не могъ насть услышать, и вступилъ съ нимъ въ непродолжительную, впрочемъ, бесѣду.

— Это меня, дитя мое, вы назвали лжецомъ?

Тронутый моей снисходительностью, бѣдный юноша сконфузился и запинаясь отвѣтилъ:

— Извините меня за рѣзкость, но мнѣ кажется, что вы говорите неправду.

— Я понимаю васъ, мой другъ: васъ смутилъ, вѣроятно, тотъ нѣсколько преувеличенный экстазъ, въ которомъ находятся женщины, и вы, какъ человѣкъ умный, не склонный къ мистическому, заподозрили меня въ обманѣ, въ гнусномъ обманѣ. Нѣть, нѣть, не извиняйтесь, я понимаю васъ. Поймите же и вы меня: именно изъ трясины суевѣрій, изъ глубокаго омута предразсудковъ и необоснованныхъ вѣрованій, хочу я извлечь ихъ заблудившуюся мысль и поставить ее на твердая основы строго-логического мышленія. Желѣзная рѣшетка, о которой я упомянула, отнюдь не есть какой либо мистический знакъ, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вамъ, какъ человѣку умному, я съ готовностью изложу, объясню эту формулу: рѣшетка — это та схема, въ которой расположены управляющіе міромъ законы, упраздняющіе хаосъ и на мѣсто его возстановляющіе забытый людьми, строгій, желѣзный, ненарушимый порядокъ. Какъ человѣкъ съ свѣтлой головою, вы легко поймете

— Простите, я дѣйствительно не понялъ васъ и, если позволите, я . . . Но зачѣмъ же вы заставляли ихъ клясться?

— Мой другъ, душа человѣческая, мнящая себя свободной и постоянно томящаяся этой лживою свободой, неизбѣжно требуетъ для себя узъ, каковыми являются для однихъ клятва, для другихъ присяга, для третьихъ просто честное слово. Вѣдь вы же даете честное слово?

— Даю.

— И этимъ вы только стремитесь ввести себя въ міровую гармонію, гдѣ все строжайше подчинено закону. Развѣ падение камня не есть выполненіе клятвы, той клятвы, что называется закономъ тяготѣнія?

Не буду передавать подробно этой и послѣдующихъ нашихъ бесѣдъ, приведшихъ къ тому, что строптивый и несдержанный юноша, оскорбившій меня наименованіемъ лжеца, сталъ однимъ изъ самыхъ горячихъ моихъ приверженцевъ и не только принесъ требуемую клятву, но выполнилъ и многое

другое, къ чему обязывало его нахожденіе въ средѣ моихъ учениковъ.

Возвращусь къ остальнымъ. За то время, какъ я бесѣдовалъ съ юношами, жажда покаянія достигла у моихъ очаровательныхъ прозелитокъ крайняго предѣла: не имѣя силы дождаться меня, онѣ въ страстномъ изступлѣніи исповѣдавались другъ другу, придавая комнатѣ видъ сада, гдѣ одновременно щебечутъ десятки райскихъ птицъ. Когда же я освободился, онѣ, одна за другою въ глубокой, интимной, скрытой отъ посторонняго слуха бесѣдѣ, открыли мнѣ всю свою взволнованную душу.

Тайна исповѣди священна, и, конечно, я не позволю себѣ ни здѣсь, ни въ другомъ мѣстѣ разглашать того, что въ слезахъ, иногда съ краскою нестерпимаго стыда, довѣрили мнѣ мои милыя «исповѣдницы». Связанныя клятвой, имѣющія слушателемъ безстрастнаго старца, которому чуждо все житейское, мелочное, грязное, онѣ трепетно вливали въ мое ухо горячую исповѣдь, подолгу останавливаясь на тѣхъ по виду незначительныхъ, но по существу важныхъ подробностяхъ, которые составляютъ тѣло событий. Если порою ихъ и смущали мои прямые, настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновеніе; и въ полной обнаженности вставала предо мною таинственная душа человѣка. Я видѣлъ, какъ изо дня въ день, изъ часа въ часъ боролись въ ней изначальный и страшный хаосъ съ жаднымъ стремленіемъ къ гармоніи и порядку; какъ въ кровавой борьбѣ извѣтчной лжи съ бессмертной правдой непостижимыми путями ложь переходила въ правду, и правда становилась ложью. Всѣ силы, какія есть въ мірѣ, нашель я въ душѣ человѣка, и пе дремала ни одна изъ нихъ, и въ буйномъ водоворотѣ своеемъ каждая душа становилась, подобно водяному смерчу, основаніемъ которому служить морская пучина, а вершиною — небо. И каждый человѣкъ, какъ я это позналъ и увидѣлъ, быль подобенъ тому богатому и сильному господину, который устроилъ пышный маскарадъ въ замкѣ своемъ и освѣтилъ замокъ огнями; и съѣхались ото всюду странныя

маски и, любезно кланяясь, привѣтствовалъ ихъ господинъ, тщетно вопрошаю, кто это; и приходили новые, все болѣе странные, все болѣе ужасныя, и все любезнѣе кланялся господинъ, шатаясь отъ усталости и страха. А онъ смѣялись и нашептывали странныя рѣчи объ извѣчномъ хаосѣ, откуда пришли онъ, покорныя, на зовъ господина. И огни горѣли въ замкѣ — и горѣли въ замкѣ огни — и далеко свѣтились окна, навѣвая мысль о празднике, и все любезнѣе, все ниже, все веселѣе кланялся обезумѣвшій господинъ. Мой благосклонный читатель легко пойметъ, что къ чувству нѣкотораго страха, который я испыталъ, вскорѣ присоединился глубочайшій восторгъ и даже умиленіе: ибо уже вскорѣ увидѣль я, что побѣжденъ извѣчный хаосъ и поднимается къ небу торжествующая пѣсня свѣтлой гармоніи. Не упоминая, конечно, именъ, даже избѣгая всякихъ намека, могущаго установить личность, я скажу, что среди предавшихся мнѣ былъ убѣйца; но и въ душѣ убѣйцы открылъ я неизсказаемый родникъ чистой правды и безконечнаго стремленія къ добру.

Не обошлось, къ сожалѣнію, дѣло безъ недоразумѣній, столь обычныхъ въ нашей жизни. Такъ, одна юная дѣвица, имѣвшая для дѣвицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цѣль моихъ вопросовъ, правда, касавшихся довольно интимныхъ вещей, и создала на этой почвѣ цѣлую исторію, могшую имѣть непріятныя послѣдствія. Считаю нужнымъ упомянуть объ этомъ ничтожномъ фактѣ лишь для того, чтобы еще разъ въ этихъ строкахъ выразить горячую признательность г-ну Начальнику нашей тюрьмы, съ присущей ему прозорливостью съумѣвшему разобрать, гдѣ правда и гдѣ ложь, и поставить легкомысленную и вздорную дѣвицу на надлежащее мѣсто. Впрочемъ, на нѣкоторое весьма непродолжительное время собесѣданія наши пришлось прекратить: возмущенный несправедливостью, я почувствовалъ себя такимъ разстроеннымъ, что несмотря на уговоры г-на Начальника, утверждавшаго, что если общество мнѣ необходимо, то я еще болѣе необходимъ для общества — я предпочелъ уединиться.

Несмотря на некоторые недоразумения, подобные вышеизложенному, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехомъ, и число посвященныхъ ростетъ, хотя условія моей жизни ставятъ этому весьма серьезная преграды. Не безъ чувства гордости упомяну о тѣхъ скромныхъ приношенияхъ, которыми мои любезныя пособительницы стараются выразить свои чувства любви и поклоненія. Не боясь вызвать улыбку на устахъ читателя, такъ какъ и самъ я чувствую комичность дальнѣйшаго — сообщу, что въ числѣ приношений, особенно въ первое время, было очень много фруктовъ, пирожковъ и различныхъ изысканныхъ лакомствъ. Боюсь, однако, что никто не повѣритъ, что я действительно отказался отъ такихъ приношений, предпочитая во всей строгости соблюденіе тюремнаго режима тѣмъ излишествамъ, на которыхъ въ избыткѣ любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочимъ, на прошлой моей лекціи одна милая и почтенная дама привезла мнѣ цѣлую корзину живыхъ цветовъ. Къ сожалѣнію, я принужденъ быть въ выраженіяхъ весьма любезныхъ отказаться и отъ этого подарка.

— Простите, сударыня, но цветы не входять въ систему нашей тюрьмы. Я очень цѣню ваше великодушное вниманіе — цѣлую ваши ручки, сударыня! — но отъ цветовъ я принужденъ отказаться. Идя тернистымъ путемъ подвига и самоотречения, я не долженъ ласкать свой взглядъ эфемерной и призрачной красотою этихъ очаровательныхъ лилій и розъ. Въ нашей тюрьмѣ все цветы гибнутъ, сударыня.

Вчера же, другая дама доставила мнѣ очень цѣнное распятіе изъ слоновой кости, фамильную, какъ она сказала, драгоценность. Не страдая грѣхомъ лицемѣрія, я откровенно сказалъ щедрой дарительницѣ, что моя мысль, воспитанная въ законахъ строгого научного мышленія, не можетъ признать ни чудесъ, ни Божественности Того Кто справедливо именуется Спасителемъ міра. Но въ тоже время, — сказалъ я — съ глубочайшимъ уваженіемъ я отношусь къ

Его Личности и безгранично чту Его заслуги передъ человѣчествомъ.

— Если я вамъ скажу, сударыня, что св. Евангеліе составляетъ уже давно мою настольную книгу, что нѣть дня въ моей жизни, когда я не развернулъ бы этой великой книги, черпая въ ней силу и мужество для прохожденія моего нелегкаго пути, — вы поймете, что вашъ щедрый даръ не могъ попасть въ болѣе подходящія руки. Отнынъ, благодаря вамъ, печальное, иногда, уединеніе моей камеры исчезаетъ: я не одинъ. Благословляю тебя, дочь моя.

Здѣсь не могу умолчать о тѣхъ странныхъ размышиленіяхъ, къ которымъ привело меня распятіе, будучи повѣшено рядомъ съ моимъ портретомъ. Это было въ сумерки; за стѣною на невидимой церкви тягуче звонилъ колоколъ, сзывалъ вѣрующихъ; вдалекъ, по пустынному, поросшему бурьяномъ полю, черной точкой двигался невѣдомый путникъ, уходящій въ невѣдомую даль; и тихо было въ нашей тюрьмѣ, какъ въ гробницѣ. Я долго, со вниманіемъ, всматривался въ черты Иисуса, столь покойныя, столь радостныя въ сравненіи съ тѣмъ, что рядомъ съ нимъ молчаливо и глухо смотрѣло со стѣны. И съ привычкой вслухъ обращаться къ неодушевленнымъ предметамъ, создавшейся долгими годами уединенія, я шутливо сказалъ неподвижному распятію.

— Здравствуй, Иисусъ! Радъ привѣтствовать Тебя въ нашей тюрьмѣ. Здѣсь нась трое: Ты, я и тотъ, что смотрить со стѣны, и надѣюсь, мы, трое, уживемся въ мирѣ и добромъ согласіи. Тотъ молчить и смотрѣть, Ты молчишь, и глаза Твои закрыты — я буду говорить за троихъ: вѣрный знакъ того, что согласіе наше никогда не нарушится.

Тѣ, оба, молчали, и, продолжая шутку, я обратилъ мою рѣчь къ портрету. Укоризненно покачавъ головою, я сказалъ:

— Куда ты смотришь такъ пристально и странно, мой неизвѣстный другъ и сожитель? Въ глазахъ твоихъ тайна и укорь — ужели ты дерзаешь укорить Того? Отвѣтай!

И дѣлая видъ, что портретъ отвѣчаетъ, я продолжалъ

измѣненнымъ голосомъ, съ выражениемъ крайней суровости и безграницной скорби:

— Да, я укоряю Его. Иисусъ, Иисусъ! Зачѣмъ такъ чистъ, такъ благостенъ Твой ликъ? Только по краю человѣческихъ страданій, какъ по берегу пучины, прошелъ Ты, и только пѣна кровавыхъ и грязныхъ волнъ коснулась Тебя — мнѣ ли, человѣку, велиши Ты погрузиться въ черную глубину? Велика Твоя Голгофа, Иисусъ, но слишкомъ почтена и радостна она, и нѣтъ въ ней одного маленькаго, но очень интереснаго штришка: ужаса безпѣльности!

Здѣсь, съ выражениемъ гнѣва, я перебилъ рѣчь Портрета.

— Какъ смѣютъ — воскликнулъ я — какъ смѣютъ въ нашей тюрьмѣ говорить о безпѣльности?

Тѣ, оба, молчали; и вдругъ Иисусъ, не открывая глазъ и даже какъ будто еще крѣпче сомкнувъ ихъ, отвѣтилъ тихо:

— Кто знаетъ тайны Иисусова сердца?

Я расхохотался, и мойуважаемый читатель легко пойметъ этотъ смѣхъ: оказалось, что я, холодный и трезвый математикъ, обладаю чуть ли не поэтическимъ талантомъ и могу сочинять очень интересныя комедіи. Мною же придуманный, но все же неожиданный для меня отвѣтъ Иисуса, показался мнѣ столь восхитительнымъ, что три или четыре раза я съ упоенiemъ повторилъ его:

— Кто знаетъ тайны Иисусова сердца?

Не знаю, чѣмъ бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовилъ громовыи отвѣты со стороны моего почтенного сожителя, когда появленіе тюремщика, принесшаго пищу, внезапно прекратило ее. Но видимо лицо мое еще хранило слѣды возбужденія, ибо почтенный человѣкъ съ суровымъ сочувствиемъ спросилъ:

— Молились?

Не помню, впрочемъ, что я отвѣтилъ ему. Въ нашей тюрьмѣ часы для употребленія пищи распределены такъ: утромъ мы получаемъ горячую воду и хлѣбъ, въ двѣнадцать часовъ дня намъ даютъ обѣдать, а въ шесть вечера вмѣстѣ

съ горячей водой даютъ и ужинъ: что нибудь простое, не-прихотливое, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища въ общемъ нѣсколько однообразна, но это и къ лучшему, такъ какъ не останавливало вниманія нашего на суетныхъ попыткахъ угодить желудку, тѣмъ самымъ освобождать духъ нашъ для возвышенныхъ занятій.

VII.

На прошедшей недѣлѣ, въ Воскресенье, въ нашей тюрьмѣ случилось большое несчастье: известный читателю г. К., художникъ, покончилъ жизнь свою самоубийствомъ, бросившись головою внизъ со стола на каменный полъ. Паденіе и сила удара были такъ ловко расчитаны несчастнымъ молодымъ человѣкомъ, что черепъ разскользъя на двое. Горе г-на Начальника тюрьмы не поддается описанію. Призвавъ меня къ себѣ въ кабинетъ, г. Начальникъ въ весьма гнѣвныхъ и рѣзкихъ выраженіяхъ, даже не подавъ мнѣ руки, упрекнули меня въ обманѣ, и успокоились только послѣ моихъ горячихъ извиненій и обѣщанія, что впредь подобные случаи не повторятся: я составлю такой проектъ надзора надъ преступниками, по которому самоубийства станутъ невозможными. Также огорчена смертью художника и почтенная супруга г-на Начальника, портретъ которой остался незаконченнымъ.

Конечно, я и самъ не ожидалъ такого исхода, хотя уже за нѣсколько дней до самоубийства г-на К., при одномъ случаѣ, онъ возбудилъ во мнѣ сильное беспокойство. Именемо: пришедши къ нему въ камеру съ утреннимъ привѣтомъ, я съ изумленіемъ увидѣлъ, что г-нь К. вновь сидитъ передъ грифельной доской и чертить на ней какихъ то человѣчковъ.

— Что это значить, мой другъ? — освѣдомился я съ осторожностью, къ которой обязывалъ меня мрачный и не-говорчивый нравъ юноши. — А какъ же портретъ г-на младшаго помощника?

— Къ чорту!

— Но вѣдь вы же . . .

— Къ чорту.

Послѣ нѣкотораго молчанія я разсѣянно замѣтилъ:

— Вашъ портретъ г-на Начальника пользуется большими успѣхомъ. Хотя нѣкоторые изъ видѣвшихъ и утверждаютъ, что правый усы нѣсколько короче лѣваго . . .

— Короче?

— Да, короче. Но въ общемъ находятъ, что сходство схвачено весьма удачно.

Г. К. отложилъ грифель и, по виду, совершенно спокойно сказалъ:

— Скажите вашему начальнику, что больше рисовать всю эту тюремную сволочь я не стану.

Послѣ этихъ словъ мнѣ оставалось только удалиться, что я и вознамѣрился сдѣлать. Но г-нъ К., не могшій обойтись безъ изліяній, схватилъ меня за руку и съ обычной горячностью сказалъ:

— Вы подумайте, дѣдушка, что это за ужасъ. Каждый день передо мною новая отвратительная рожа. Сидѣть и смотрѣть на меня лягушечими глазами. Что это? Сперва я смѣялся, мнѣ даже нравилось, но когда каждый день лягушечиѣ глаза, мнѣ стало страшно. А онъ еще квакать начнетъ: ква-ква! Что это?

Въ глазахъ художника, дѣйствительно, былъ какой то страхъ, даже безуміе, пожалуй, — то безуміе, которое уже вскорѣ свело его въ столь преждевременную могилу.

— Дѣдушка! Нужно что-нибудь красивое, поймите меня.

— А супруга г-на Начальника? Развѣ . . .

Умолчу о тѣхъ крайне неприличныхъ выраженіяхъ, въ какихъ г. К., подъ вліяніемъ возбужденія, отзывался о дамѣ. Долженъ, однако, признаться, что до извѣстной степени художникъ былъ правъ въ своихъ жалобахъ. Я нѣсколько разъ присутствовалъ при сеансахъ и замѣтилъ, что всѣ, позировавши для художника, держались не совсѣмъ естественно. Люди искренніе и наивные, они, очевидно, въ созна-

ніи необычности и важности своего положенія, въ убѣжденіи, что черты ихъ лица, увѣковѣченныя на полотнѣ, перейдутъ къ потомству, нѣсколько преувеличивали тѣ свойства, которыя такъ характерны для ихъ высокаго и отвѣтственного назначенія въ нашей тюрьмѣ. Нѣкоторая напыщенность позы, преувеличенное выраженіе суровой властности, явное сознаніе собственной значительности и, отсюда, видимое пренебреженіе къ предмету, на который обращены ихъ взоры — все это искажало ихъ добрая и привѣтливыя лица. Но не понимаю, что ужаснаго нашелъ художникъ тамъ, гдѣ было мѣсто лишь для улыбки. Болѣе того, меня искренне возмутило то поверхностное отношеніе, съ какимъ художникъ, считающій себя талантливымъ и умнымъ, прошелъ мимо людей, незамѣтивъ, что у каждого изъ нихъ теплится искра Божія. Въ поискахъ какой то фантастической красоты, онъ легкомысленно прошелъ мимо тѣхъ истинныхъ красо-ты, которыми полна душа человѣка. Не могу здѣсь не пожалѣть о тѣхъ несчастныхъ людяхъ, подобныхъ г-ну К., которые въ силу какого то особаго устройства ихъ мозговъ, всегда обращаютъ свои взоры въ сторону темнаго, когда такъ много радости и свѣта въ нашей тюрьмѣ!

Высказавъ все это г-ну К., я услышалъ, къ сожалѣнію, все тотъ же стереотипный и неприличный отвѣтъ:

— Къ чорту!

Мнѣ оставалось только пожать плечами, что я и сдѣлалъ; художникъ же, вдругъ совершенно измѣнивъ тонъ и обращеніе, серьезно обратился ко мнѣ съ вопросомъ, также по моему мнѣнію достаточно неприличнымъ:

— Зачѣмъ вы лжете, дѣдушка?

Конечно, я удивился:

— Я — лгу?!

— Ну, какъ хотите, ну пусть правду, но только зачѣмъ?

Я вотъ смотрю и думаю: зачѣмъ? Зачѣмъ?

Мой благосклонный читатель, хорошо знающій, чего стоила мнѣ правда, легко пойметъ мое глубокое негодованіе; умышленно привожу эту дерзкую и, подобныя

ей, и леветническія фразы, чтобы показать, въ какой атмосфѣрѣ злобы, недовѣрія и неуваженія приходится мнѣ проходить тяжкій путь испытанія. А онъ грубо настаивалъ:

— Нѣть, мнѣ довольно вашихъ улыбокъ, вы мнѣ прямо скажите: зачѣмъ?

Тогда я, признаюсь, вспыхнула:

— Ты хочешь знать, зачѣмъ говорю я правду? Затѣмъ, что я ненавижу ложь и предаю ее вѣчному проклятию! Затѣмъ, что роковая судьба сдѣлала меня жертвою несправедливости, и, какъ жертва, какъ тотъ, кто принялъ на себя великий грѣхъ мира и его великія страданія, я хочу указать людямъ путь. Жалкій эгоистъ, ты знаешь только себя и свое несчастное искусство, а я — я люблю людей.

Гнѣвъ мой возрастилъ, я чувствовалъ, какъ надуваются жилы на моемъ лбу:

— Безумецъ, жалкій малырь, несчастный школьнікъ, влюбленный въ краски! Передъ тобой проходять люди, а ты только и видишь, что лягушечьи глаза — какъ повернулся твой языкъ, чтобы сказать это? О, если бы хоть разъ ты заглянулъ въ человѣческую душу! Какія сокровища нѣжности, любви, кроткой вѣры, святого смиренія открыль бы ты тамъ. И тебѣ, дерзкому, показалось бы, что ты вошелъ въ храмъ — свѣтлый, сіяющій огнями храмъ. Но — не мечите бисера передъ свиньями, сказано про такихъ, какъ ты.

Художникъ молчалъ, подавленный моей гнѣвной и, къ сожалѣнію, не совсѣмъ сдержанной рѣчью; наконецъ, вздохнувъ, онъ сказалъ:

— Простите меня, дѣдушка, я говорю глупости, конечно, но я такъ несчастенъ и такъ одинокъ. Конечно, милый дѣдушка, все это правда обѣ искрѣ Божьей и обо всей этой красотѣ, но и вѣдь начищенный сапогъ красивъ! Я не могу, я не могу. Вы подумайте, развѣ можетъ человѣкъ имѣть такие усы, какъ у него. А онъ еще жалуется: лѣвый усы короче!

Онъ по дѣтски засмѣялся и вздохнувъ добавилъ.

— Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Дѣйст-

вительно въ ней есть что то хорошее. Хотя все-таки она — корова.

Онъ опять засмѣялся и осторожно, боясь смахнуть рукавомъ непрочный рисунокъ, отнесъ грифельную доску въ уголь. И здѣсь я совершилъ то, къ чему обязывалъ меня мой долгъ: схвативъ доску, сильнымъ ударомъ я раздробилъ ее на куски. Я думалъ, что художникъ съ яростью бросится на меня, но этого не произошло: его слабому мозгу мой поступокъ показался такимъ кощунственнымъ, такимъ сверхестественно ужаснымъ, что ни слова не могли произнести его помертвѣвшія губы.

— Что вы сдѣлали? — наконецъ спросилъ онъ тихо.
— Вы ее разбили?

И, поднявъ руку, я торжественно отвѣтилъ:

— Я сдѣлалъ то, безумный юноша, что совершилъ бы я надъ сердцемъ моимъ, еслибы оно вздумало шутить и смѣяться надо мною! Несчастный, развѣ ты не видишь, что твоё искусство уже давно смѣется надъ тобою, что съ твоей доски самъ дьяволъ корчитъ тебѣ свои гнусныя рожи!

— Да! Дьяволь!

— Далекій твоему дивному искусству, я первоначально не понялъ тебя, твоей тоски — твоего ужаса безцѣльности. Но когда сегодня, войдя, я увидѣлъ тебя за этимъ гибельнымъ занятіемъ, я сказалъ себѣ: пусть лучше онъ не творить совсѣмъ, чѣмъ творить такъ. Послушай меня.

Здѣсь впервые я открылъ этому юношѣ священную формулу желѣзной рѣшетки, которая, раздѣляя бесконечное на квадраты, тѣмъ самымъ подчиняетъ его намъ. Съ трепетомъ внималъ г. К. моимъ рѣчамъ, съ ужасомъ невѣжды глядя на тѣ знаки, которые ему, несомнѣнно, казались кабалистическими, и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми въ математикѣ.

— Я вашъ рабъ, дѣдушка, — сказалъ онъ подъ конецъ, цѣлую холодными губами мою руку.

— Нѣть, ты будешь моимъ любимымъ ученикомъ, сынъ мой. Благословляю тебя.

И показалось мнѣ, художникъ быль спасенъ. Правда, ко мнѣ относился онъ съ большою радостью, легко объясняемой, впрочемъ, тѣмъ чрезмѣрнымъ уваженіемъ, какое внушилъ я ему, но портретъ г-жи начальницы писалъ съ такимъ жаромъ, съ такимъ усердiemъ, что почтенная дама была искренне тронута. И странно: въ черты этой уже не молодой и нѣсколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже г. Начальникъ, уже давно привыкшій къ лицу своей супруги, былъ искренне восхищенъ его новымъ и невиданнымъ выраженіемъ. Такимъ образомъ, все шло, казалось, прекрасно, какъ вдругъ эта ночная катастрофа, весь ужасъ, который знаю я одинъ.

Признаюсь, въ надеждѣ не быть понятымъ превратно, что всѣ послѣдніе дни я провелъ въ состояніи крайней, даже нѣсколько болѣзненной тревоги.

Не желая вызывать лишнихъ толковъ, я скрылъ отъ г-на Начальника, что художникъ передъ самой смертью своею подбросилъ мнѣ письмо, замѣченное мною, къ сожалѣнію, только утромъ. Я не сохранилъ этой бумажки, и не помню всего, что наговорилъ мнѣ на прощаніе несчастный юноша; кажется, это была благодарность за мою попытку спасти его и искреннее сожалѣніе, что слабыя силы его не даютъ ему возможности воспользоваться моими указаніями. Но одна фраза крѣпко запечатлѣлась въ моей памяти, и вы поймете, почему это, если я приведу ее во всей ея пугающей простотѣ:

«Я ухожу изъ вашей тюрьмы» — такъ гласить эта фраза.

И онъ дѣйствительно ушелъ: вотъ стѣны, вотъ окошечко въ двери, вотъ вся наша тюрьма, а его нѣть, онъ ушелъ. Слѣдовательно и я могъ уйти; вместо того, чтобы тратить десятки лѣтъ на титаническую борьбу, вместо того, чтобы въ отчаянныхъ потугахъ, изнемогая отъ ужаса передъ лицомъ неразгаданныхъ тайнъ, стремиться къ подчиненію мира моей мысли и моей волѣ, я могъ бы взлѣзть на столь и

— одно мгновеніе неслышной боли — я уже на свободѣ, я уже торжествую надъ замкомъ и стѣнами, надъ правдой и ложью, надъ радостью и страданіями. Не скажу, чтобы и прежде не думалъ я о самоубійствѣ, какъ объ одномъ изъ способовъ бѣгства, но лишь впервые, со всею своею соблазнительностью встала предо мною эта возможность. Въ припадкѣ низкаго малодушія, котораго я не скрою отъ моего читателя, какъ не скрываю отъ него хорошихъ сторонъ моихъ, быть можетъ, даже въ припадкѣ временнаго помѣшательства, я мгновенно забылъ все, что зналъ о нашей тюрьмѣ и ея великой цѣлесообразности, забылъ — стыдно сказать — даже великую формулу желѣзной рѣшетки, понятую и усвоенную съ такимъ трудомъ; и уже приготовилъ изъ полотенца мертвую петлю, чтобы удавить себя. И уже въ послѣднюю минуту, когда все было готово и оставалось только оттолкнуть табуретъ, я, съ непокидавшею меня даже въ эти минуты наклонностью къ мышленію, подумалъ: но куда же я иду? Отвѣтъ былъ: я иду въ смерть. А что такое смерть? И отвѣтъ былъ: не знаю.

И этихъ короткихъ размышленій было достаточно, чтобы я пришелъ въ себя и съ горькимъ смѣхомъ надъ малодушіемъ своимъ снялъ съ шеи роковую петлю. Какъ за минуту передъ этимъ я готовъ былъ рыдать отъ тоски, такъ теперь я хохоталъ, хохоталъ, какъ изступленный, въ сознаніи, что еще одна ловушка, подставленная насмѣшилымъ случаемъ, блестяще избѣгнута мною. О, сколько ловушекъ въ жизни человѣка: какъ хитрый рыбакъ, судьба ловить его то на блестящую приманку какой то правды, то на волосатаго червячка темной лжи, то на призракъ жизни, то на призракъ смерти. Мой дорогой юноша, мой очаровательный глупецъ, мой восхитительный безумецъ — кто сказалъ вамъ, что наша тюрьма кончается здѣсь, что изъ одной тюрьмы вы не попали въ другую, откуда ужъ едва ли придется вамъ бѣжать! Вы поторопились, мой другъ, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить кое о чёмъ, и кое что я сказалъ бы вамъ: я сказалъ

бы вамъ, что какъ надъ тѣмъ, что вы зовете жизнью и бытіемъ, такъ и надъ тѣмъ, что вы называете небытіемъ и смертью одинаково царить всесильный Законъ. Только глупцы, умирая, думаютъ, что они кончаютъ съ собой — они кончаютъ только съ одною формой себя, чтобы немедля принять другую.

Такъ размышлялъ я, смыаясь надъ глупымъ самоубийцей, смѣшнымъ разрушителемъ узъ вѣчности; и вотъ что сказаъ я, обращаясь къ тѣмъ двумъ безгласнымъ сожителямъ моимъ, что неподвижно прилипли къ бѣлой стѣнѣ:

— Вѣрую и исповѣдую, что тюрьма наша бессмертна. Что скажете вы на это, друзья мои?

Но они молчали. И, разсмѣявшись добродушно — что за тихіе сожители у меня! — я неторопливо раздѣлся и отдался спокойному сну. И во снѣ я видѣлъ иную величественную тюрьму, и прекрасныхъ тюремщиковъ съ бѣлыми крыльями за спиною, и г-на Главнаго Начальника тюрьмы; не помню, были ли тамъ окошечки на двери, или нѣть, но кажется, что были: мнѣ помнится что-то вродѣ ангельскаго глаза съ нѣжнымъ вниманіемъ и любовью прикованнаго ко мнѣ. Мой благосклонный читатель, конечно, догадался, что я шучу: никакого сна я не видѣлъ, да и не имѣю обыкновенія ихъ видѣть.

Не надѣясь, что г. Начальникъ, занятый неотложными дѣлами по управлению, вполнѣ пойметъ и оцѣнить мою мысль о невозможности бѣгства изъ нашей тюрьмы, въ своемъ докладѣ я ограничился лишь указаніемъ нѣкоторыхъ способовъ, которыми могутъ быть предотвращены самоубийства. Съ великодушной близорукостью, свойственной людямъ дѣловымъ и довѣрчивымъ, г. Начальникъ не замѣтилъ слабыхъ сторонъ моего проекта и горячо жалъ мнѣ руки, выражая благодарность отъ имени всей нашей тюрьмы. Въ этотъ день, впервые я имѣлъ честь выкушать стаканъ чаю въ самой квартирѣ г-на Начальника, въ присутствіи его любезной супруги и очаровательныхъ дѣтей, называвшихъ меня дѣдуш-

ко й. Слезы умиленія, овлашнившія мои глаза, лишь въ слабой степени могутъ выразить владѣвшія мною чувства.

Между прочимъ, по просьбѣ г-жи начальницы, принявшей во мнѣ горячее участіе, я подробно рассказалъ трагическую исторію убийства, такъ неожиданно и страшно приведшаго меня въ тюрьму. Я не могъ найти достаточно сильныхъ выраженій — да ихъ и нѣтъ на человѣческомъ языкѣ — чтобы достойно заклеймить неизвѣстнаго злодѣя, не только убившаго трехъ беззащитныхъ людей, но въ какой то слѣпой и дикой ярости изувѣрски надругавшагося надъ ними.

Какъ показалъ осмотръ и вскрытие труповъ, убийца послѣдніе удары наносилъ уже мертвымъ; и свойство нѣкоторыхъ колотыхъ ранъ, безцѣльныхъ и жестокихъ, указывало на садическія наклонности отвратительного злодѣя. Очень возможно, впрочемъ, — даже и злодѣяльность нужно отдавать справедливость — что человѣкъ этотъ, опьяненный видомъ крови столькихъ невинныхъ жертвъ, вре менно пересталъ быть человѣкомъ и сталъ звѣремъ, сыномъ изначального хаоса, дѣтищемъ темныхъ и страшныхъ вожделѣній. Характерно, что убийца, послѣ совершеннія преступленія, пилъ вино и кушалъ бисквиты — остатки того и другого найдены на столѣ со слѣдами окровавленныхъ пальцевъ. Но есть нѣчто ужаснѣйшее, чего ни понять, ни объяснить не можетъ мой человѣческій разумъ: закуривая самъ, убийца, повидимому въ чувствѣ какого то страннаго дружелюбія, вложилъ зажженную сигару въ стиснутые зубы моего покойнаго отца.

Давно уже не припоминалъ я этихъ ужасныхъ подробностей, почти стертыхъ рукою времени; и теперь, возстановляя ихъ передъ потрясенными слушателями, не хотѣвшими вѣрить, что такие ужасы возможны, я чувствовалъ, какъ блѣднѣло мое лицо и волосы шевелились на моей головѣ. Въ тоскѣ и гнѣвѣ я поднялся съ кресла и, выпрямившись во весь ростъ, воскликнулъ:

— Земное правосудіе часто бываетъ бессильно, — вос-

кликунулъ я — но я умоляю правосудіє небесное, умоляю справедливую жизнь, которая никогда не прощаетъ, умоляю всѣ высшіе законы, подъ властью которыхъ живетъ человѣкъ, — да не избѣжитъ виновный заслуженной имъ безпощадной кары! кары!

Потрясенные моими рыданіями слушатели тутъ же выразили пылкую готовность хлопотать о моемъ освобожденіи и хоть отчасти искушить этимъ нанесенную мнѣ несправедливость. Я же, попросивъ извиненія, удалился къ себѣ въ камеру.

Повидимому, мой старческий организмъ уже не выносить такихъ потрясеній; да и трудно, даже будучи сильнымъ человѣкомъ, вызывать въ воображеніи нѣкоторые образы, не рискуя цѣлостью разсудка: только этимъ могу я объяснить ту странную галлюцинацію, что въ одиночествѣ камеры предстала моимъ утомленнымъ глазамъ. Въ нѣкоторомъ однѣнніи, безцѣльно, я смотрѣлъ на запертую глухую дверь, когда мнѣ почудилось, что сзади меня кто то стоитъ; это чувство и раньше въ своей обманчивости посыпало меня, и нѣкоторое время я медлилъ обернуться. Когда же я обернулся, то увидѣлъ слѣдующее: въ пространствѣ, между распятіемъ и моимъ портретомъ, на нѣкоторомъ разстояніи отъ пола, не превышающемъ, впрочемъ, четверти аршина, какъ бы висящимъ въ воздухѣ, явился трупъ моего отца. Затрудняюсь передать подробности, такъ какъ уже давно наступили сумерки, но могу сказать навѣрное, что это былъ именно образъ трупа, а не живого человѣка, хотя в о рту у него и дымилась сигара. Точноѣ сказать, дыма отъ сигары не было, а только свѣтился слабо красноватый, какъ бы потухающій огонекъ. Характерно, что ни въ эту минуту, ни потомъ, я не ощутилъ запаха табаку — самъ я давно уже не курю. Здѣсь — я вынужденъ сознаться въ своей слабости, но обманъ зрѣнія былъ поразителенъ — я заговорилъ съ галлюцинаціей. Подойдя близко насколько это было возможно — трупъ не отодвигался по мѣрѣ моего приближенія, но оставался совершенно неподвижнымъ,

и, наступая дальше, я долженъ былъ прямо наткнуться на него — я сказалъ призраку:

— Благодарю тебя, отецъ. Ты знаешь, какъ тяжело твоему сыну, и ты пришелъ, ты пришелъ, чтобы засвидѣтельствовать мою невиновность. Благодарю тебя, отецъ. Дай мнѣ твою руку, и крѣпкимъ сыновнимъ пожатіемъ я отвѣчу на твой неожиданный приходъ . . . Не хочешь? Давай руку! Давай руку — я тебѣ говорю, иначе я назову тебя лжецомъ!

Я протянулъ руку, но, конечно, галлюцинація не удостоила меня отвѣтомъ, и я навсегда лишился возможности узнать, каково прикосновеніе тѣни. Тотъ крикъ, который я испустилъ и который такъ обезпокоилъ моего друга-тюремщика и произвелъ вѣкоторый переполохъ въ тюрьмѣ, былъ вызванъ виезапнымъ исчезновеніемъ призрака, столь внезапнымъ, что образовавшаяся на мѣстѣ трупа пустота показалась мнѣ почему то болѣе ужасною, нежели самъ трупъ.

Такова сила человѣческаго воображенія, когда, возбужденное, творить оно призраки и видѣнія, заселяя ими бездонную и навѣки молчаливую пустоту. Грустно сознаться, что существуютъ, однако, люди, которые вѣрятъ въ призраки и строятъ на этомъ вздорныя теоріи о какихъ то сношеніяхъ между міромъ живыхъ людей и загадочной страною, где обитаютъ умершіе. Я понимаю, что можетъ быть обмануто человѣческое ухо и даже глазъ — но какъ можетъ впасть въ такой грубый и смѣшной обманъ великий и свѣтлый разумъ человѣка?

Между прочимъ, я сказалъ тюремщику:

— У меня какое то странное ощущеніе: какъ будто здѣсь пахнетъ сигарнымъ дымомъ, Вамъ не кажется это?

Тюремщикъ добросовѣстно понюхалъ воздухъ и отвѣтилъ:

— Нѣть, я не нахожу этого. Вамъ показалось.

Вотъ, если вамъ нужны подтвержденія, прекрасное дока-

зательство, что все видѣнное мною, если и существовало — то только на сѣтчаткѣ моего глаза.

VIII.

Произошло нѣчто въ высокой степени неожиданное: хлопоты моихъ друзей, г-на Начальника и его супруги увѣнчались успѣхомъ, и вотъ уже два мѣсяца, какъ я на свободѣ.

Счастливъ сообщить, что тотчасъ же по выходѣ изъ нашей тюрьмы, я занялъ положеніе весьма почетное, на которое едва ли смѣль когда либо разсчитывать въ сознаніи моихъ скромныхъ достоинствъ. Вся печать съ единодушнымъ восторгомъ встрѣтила меня; многочисленные журналисты, фотографы, даже карикатуристы (люди нашего времени такъ любятъ смѣхъ и удачныя остроты) въ сотняхъ статей и рисунковъ воспроизвели всю исторію моей замѣтательной жизни. Съ поразительнымъ единодушіемъ, не согвариваясь другъ съ другомъ, газеты присвоили мнѣ наименование «Учитель», высоко лестное имя, которое, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, я принялъ съ глубокой признательностью. Не знаю, стоитъ ли упоминать о нѣсколькихъ враждебныхъ замѣткахъ, вызванныхъ раздраженіемъ и завистью — порокомъ столь часто пятнающимъ человѣческую душу; въ одной изъ этихъ замѣтокъ, появившейся, между прочимъ, въ очень грязненькой газетѣ, какой то негодяй, руководясь жалкими сплетнями и ни на чѣмъ неоснованными слухами о моихъ собесѣданіяхъ въ нашей тюрьмѣ, называлъ меня «изувѣромъ и лжецомъ». Возмущенные наглостью жалкаго писаки, друзья мои хотѣли подвергнуть его преслѣдованію, но я убѣдилъ ихъ этого не дѣлать: въ самомъ себѣ находить порокъ достойную его кару.

Тѣ средства, которыя оставила мнѣ добрая матушка и которыя сильно возросли за то время, пока я находился въ тюрьмѣ, дали мнѣ возможность устроиться не тольколично, но даже и роскошно въ одномъ изъ наиболѣе аристократическихъ отелей. Въ моемъ распоряженіи находится многочисленный штатъ прислуги, автомобиль — прекрасное

изобрѣтеніе, съ которымъ я познакомился впервые — и вообщѣ я такъ умѣло распорядился деньгами, что несомнѣнно, попади богатство въ мои руки въ свое время, я не оставилъ бы его лежать втуне. Живые цвѣты, въ изобиліи доставляемые очаровательными посѣтительницами, придаютъ моему уголку видъ оранжереи или даже кусочка тропического лѣса. Мой слуга, весьма приличный молодой человѣкъ, положительно въ отчаяніи: никогда, по его словамъ, онъ не видѣлъ столько цвѣтовъ и не обонялъ одновременно столько различныхъ запаховъ. Если бы не мой преклонный возрастъ и не та строгая и важная корректность, съ какой держусь я съ моими почитательницами — я не знаю, передъ чѣмъ могли бы остановиться онѣ въ выраженіяхъ своихъ пылкихъ чувствъ. Сколько надушенныхъ записочекъ! Сколько томныхъ вздоховъ и покорно молящихъ глазъ! Даже не обошлось дѣло безъ прелестной незнакомки подъ черной вуалью: три раза въ различные часы таинственно появлялась она и узнавъ, что у меня есть посѣтители, столь же таинственно исчезала.

Добавлю, что въ настоящее время я удостоенъ чести быть избраннымъ въ почетные члены многихъ человѣколюбивыхъ обществъ, какъ то: «Лиги мира», «Лиги борьбы съ дѣтской преступностью», «Общества друзей человѣка» и нѣкоторыхъ другихъ. Кромѣ того, по приглашенію редактора одной изъ наиболѣе распространенныхъ газетъ, съ будущаго мѣсяца я начинаю серію публичныхъ лекцій, для каковой цѣли отправляюсь въ турнѣ вмѣстѣ съ моимъ любезнымъ импресаріо. Я уже подготовилъ материалы для первыхъ трехъ моихъ лекцій и, въ надеждѣ, что читателю моему это не будетъ безынтересно, сообщу конспектъ таковыхъ.

Лекція первая.

Хаосъ или порядокъ? Извѣчная борьба между тѣмъ и другимъ. Вѣчный бунтъ и вѣчное пораженіе бунтовщика-хаоса. Торжество закона и порядка.

Лекція вторая.

Что такое душа человѣка? Извѣчная борьба двухъ началъ въ душѣ человѣка: хаоса, изъ коего она рождена, и гармоніи, къ коей она неудержанно стремится. Ложь, какъ дѣтище хаоса, и правда, какъ дитя гармоніи. Торжество правды и гибель лжи. Божескій престоль вакантенъ — на божескій престоль есть претендентъ: человѣкъ.

Лекція третья.

Разъясненіе священной формулы желѣзной рѣшетки.

Между прочимъ, во избѣжаніе излишнихъ пересудовъ (я живу сейчасъ точно въ стеклянномъ колпакѣ), я отказался на нѣкоторое время отъ продолженія тѣхъ пріятныхъ со-бесѣдований, которыя, на языкѣ моихъ очаровательныхъ по-свѣтительницъ, назывались исповѣдью; надѣюсь, впрочемъ, что со временемъ мнѣ удастся ихъ возстановить и съ избыткомъ вознаградить за испытанныя лишенія мою милую паству.

Какъ видѣть мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звукъ, и за мои страданія я получаю нынѣ не малую награду. Но не смѣя ни въ чемъ упрекнуть столь милостивую ко мнѣ судьбу, я все же нечувствую того удовлетворенія, для какого, казалось, имѣлъ бы полное основаніе. Правда, первое время я былъ положительно счастливъ; но уже вскорѣ привычки къ строго логическому мышленію, зоркость и неподкупность взгляда, пріобрѣтенная созерцаніемъ мѣра сквозь математически правильную рѣшетку, привели меня къ ряду разочарованій.

Боюсь сейчасъ сказать это съ полной увѣренностью, но, кажется, вся ихъ жизнь на таѣ называемой свободѣ есть сплошной самообманъ и ложь. Жизнь каждого изъ тѣхъ людей, кого я видѣлъ за эти дни, движется по строго опредѣленному кругу, столь же прочному, какъ коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, какъ циферблать тѣхъ

часовъ, что въ невинности разума, ежеминутно подносять они къ глазамъ своимъ, не понимая рокового значенія вѣчно движущейся и вѣчно къ своему мѣсту возвращающейся стрѣлки; — и каждый изъ нихъ чувствуетъ это, какъ чувствуетъ, вѣроятно, и цирковая лошадь, но въ странномъ ослѣпленіи увѣряетъ, что онъ совершенно свободенъ и движется впередъ. Подобно глупой птицѣ, которая бьется до полнаго истощенія силъ о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживаетъ, эти люди безпомощно бьются о стѣны своей стеклянной тюрьмы. Я не могу безъ негодованія говорить объ ихнемъ небѣ, глубиной и бесконечностью кото-раго они такъ восхищаются: наглое, оно обманываетъ ихъ своею мнимою доступностью, своею лживой красотой. Меня поражаетъ безуміе ихъ широко открытыхъ, ничѣмъ незащищенныхъ оконъ, въ которыхъ влиается свободно бесконечность, безуміе ихъ столь же широко открытыхъ глазъ, только усиленнымъ морганіемъ кладущихъ преграду между собой и вѣчностью. Додумавшись то того, что время необходимо раздѣлить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умѣютъ справиться съ вѣчностью, надѣвъ на нее желѣзную рѣшетку. О, еслибы они поняли, что свободы нѣтъ, что свободы не нужно — какъ были бы они счастливы въ сознаніи свой мудрой подчиненности цѣлесообразнымъ и строгимъ велѣніямъ рока.

Глубоко ошибся я, какъ кажется, и въ значеніи тѣхъ привѣтствій, которые выпали на мою долю по выходѣ изъ тюрьмы. Конечно, я былъ убѣждѣнъ, что во мнѣ они привѣтствуютъ представителя нашей тюрьмы, закаленного опытомъ, вождя, Учителя, явившагося къ нимъ лишь для того, чтобы открыть имъ великую тайну цѣлесообразности. И когда они поздравляли меня съ дарованной мнѣ свободою, я отвѣчалъ благодарностью, не подозрѣвая, какой идиотскій смыслъ влагаютъ они въ это слово. Да простится мнѣ это грубое выраженіе, но я не въ силахъ долгѣ сдерживать моего отвращенія къ ихъ нелѣвой жизни, къ ихъ помысламъ, къ ихъ чувствамъ. Повѣрить ли читатель такой дикой не-

сообразности: ни одна изъ газетъ не осмѣлилась напечатать моего рассказа о томъ, какимъ простымъ и мудрымъ способомъ пришелъ я къ удовлетворенію моихъ половыхъ потребностей, находя, что это можетъ повредить ихъ общественной нравственности.

— А какъ бы вы поступили на моемъ мѣстѣ? — спросилъ я одного, по виду даже неглупаго господина, стыдливо выслушавшаго мой рассказъ. Онъ замялся.

— Вѣроятно, поступилъ бы также, но разсказывать объ этомъ . . . И вообще, чтобы Онанія былъ великимъ человѣкомъ . . . онъ фыркнулъ. — Вы шутите, конечно?

Я шучу?! Глупые лицемѣры, боящіеся сказать правду даже тамъ, где она ихъ укрощаетъ. Вообще моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытаніе въ средѣ этихъ лживыхъ и мелочныхъ людей. Положительно ни одинъ . . . субъектъ не повѣрилъ, что въ тюрьмѣ я былъ счастливъ, какъ никогда. Чему же они тогда удивляются во мнѣ и зачѣмъ печатаютъ мои портреты? Развѣ такъ мало идиотовъ, которые въ тюрьмѣ несчастны! И самое любопытное, всю соль чего сумѣть оцѣнить мой благосклонный читатель: часто ни на гротѣ не вѣря мнѣ, они, тѣмъ не менѣе, совершенно искренне восхищаются мною, кланяются, жмутъ руки и на каждомъ шагу лопочатъ: «Учитель!» «Учитель!» И если бы отъ своей постоянной лжи они получали какую нибудь пользу, — но нѣть: они совершенно безкорыстны и лгутъ точно по чьему то высшему приказу, лгутъ въ фанатическомъ убѣжденіи, что ложь ничѣмъ не отличается отъ правды. Дрянные актеры, даже не умѣющіе сдѣлать порядочнаго грима, они съ утра до ночи кривляются на какихъ то подмосткахъ и, умирая самой настоящей смертью, страдая самымъ настоящимъ страданіемъ, въ свои предсмертныя судороги вносятъ грошевое искусство арлекина. Даже мошенники у нихъ не настоящіе, а только играть роль мошенниковъ, сами же остаются честными людьми; а роль честныхъ исполняютъ преимущественно мошен-

ники и исполняют скверно, и публика видеть это, но, во имя все той же фатальной лжи, несет имъ вѣнки и букеты. А если дѣйствительно находится такой талантливый актеръ, что умѣть совершенно стереть границу между правдой и обманомъ, такъ что даже и они начинают вѣрить — они въ восторгѣ называют его великимъ, объявляют подпиську на памятникъ, но денегъ не даютъ. Отчаянные трусы, они больше всего боятся самихъ себя и, любуясь съ восторгомъ отражениемъ въ зеркалѣ своего лживаго загримированаго лица, — воють отъ ужаса и злости, когда кто нибудь неосторожный подставляет зеркало ихней душѣ.

Безъ сомнѣнья мой благосклонный читатель долженъ принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту свойственна нѣкоторая ворчливость. Конечно, я встрѣтилъ не мало достойнѣйшихъ людей, безусловно правдивыхъ, искреннихъ и смѣлыхъ; горжусь сознаніемъ, что и у нихъ я нашелъ надлежащую оцѣнку моей личности. При поддержкѣ этихъ друзей моихъ, я надѣюсь съ успѣхомъ закончить борьбу за истину и справедливость. Для моихъ шестидесяти лѣтъ я еще достаточно крѣпокъ: и нѣтъ, кажется, силы, что могла бы сломить мою желѣзную волю.

Временами мною овладѣваетъ усталость: благодаря неестественному строю и хѣ жизни, я даже ночью не имѣю надлежащаго покоя. Огромныя окна, эти безсмысленные зияющіе провалы, даже сквозь толстую завѣсу зовущіе къ какому то полету — возбуждаютъ и беспокоятъ меня. И сознаніе, что ложась спать я могъ въ разсѣянности не запереть на ключь двери моей спальни, заставляетъ меня десятки разъ вскакивать съ постели и съ дрожью ужаса ощущивать замокъ. Недавно такъ и случилось: вынувъ ключъ изъ двери и спрятавъ его подъ подушку, въ полной увѣренности, что дверь заперта, я вдругъ услыхалъ стукъ, а затѣмъ дверь пріоткрылась, пропустивъ улыбающееся лицо моего слуги. Вы, дорогой читатель, легко поймете totъ ужасъ, какой испыталъ я при этомъ неожиданномъ появлѣніи: мнѣ почудилось, что кто то вошелъ въ мое душу. И хотя мнѣ

вовсе нечего скрывать, подобное вторженіе мнѣ кажется по меньшей мѣрѣ неприличнымъ.

На дніяхъ я слегка простудился — въихъ окна страшно дуеть, и попросилъ моего слугу пободрствовать возлѣ меня ночь. На утро я, шутя, спросилъ его.

— Ну, какъ, много я болталъ во снѣ?

— Нѣть, вы ничего не говорили.

— А мнѣ снился какой то страшный сонъ и, помнится, я даже плакалъ.

— Нѣть, вы все время улыбались, и я еще подумалъ: какие счастливые сны видить нашъ Учитель.

Милый юноша, повидимому, онъ искренне преданъ мнѣ, и это такъ трогаетъ меня въ настоящіе тяжелые дни.

Завтра сажусь за составленіе лекціи. Пора!

IX.

Боже мой, что со мною случилось! Я не знаю какъ разсказать объ этомъ читателю. Я былъ на краю пропасти. Я чуть не погибъ. Какая жестокія испытанія посылаетъ мнѣ судьба. Вѣдь мнѣ шестьдесятъ лѣтъ — шестьдесятъ лѣтъ. Безумцы, мы улыбаемся, ничего не подозрѣвая, когда надъ нами уже занесена чья то убийственная рука, улыбаемся, чтобы въ слѣдующее мгновеніе дико вытаращить глаза отъ ужаса. Я — я плакалъ о чёмъ то. Я плакалъ! Еще одно мгновеніе и, обманутый, я бросился бы внизъ, думая, что лечу къ небу. Оказывается — оказывается: та «прелестная незнакомка» подъ черною вуалью, что трижды таинственно являлась ко мнѣ, есть никто иная какъ г-жа N. N., моя бывшая невѣста, моя любовь, моя мечта и страданіе. Вѣдь ни одной женщины, кроме нея, я не зналъ и не любилъ во всѣ эти безконечные ужасные года. И оказалось . . .

Но порядокъ, порядокъ! Да простить мнѣ мой благосклонный читатель невольную жалкую безвязность предыдущихъ строкъ, но мнѣ шестьдесятъ лѣтъ, и силы мои слабѣютъ. Силы мои слабѣютъ, и я одинъ. Будь хоть ты

моимъ другомъ въ эту минуту, мой неизвѣстный читатель: вѣдь не желѣзный же я, и силы мои слабѣютъ. Слушай, другъ: подробно и точно, со всею объективностью, на какую только способенъ мой холодный и свѣтлый разумъ, постараюсь передать я прошедшее. И пойми то, чего не доскажетъ мой языкъ.

Я сидѣлъ за составленіемъ лекціи, весь охваченный жаромъ интересной работы, когда мой слуга доложилъ, что вновь явилась незнакомка подъ черной вуалью и просить разрѣшенія видѣть меня. Признаюсь не безъ нѣкотораго, вполнѣ понятнаго, раздраженія я уже готовился отвѣтить отказомъ, но любопытство, наконецъ, нежеланіе причинить обиду, побудили меня принять неожиданную гостью. Придавъ своему лицу и позѣ то обычное выраженіе величаваго благородства, съ какимъ встрѣчаю я посѣтителей, и только слегка смягчивъ его въ виду романическаго характера исторіи шутливой и пріятной улыбкой, я приказалъ открыть дверь.

— Прошу садиться, моя дорогая гостья, — любезно предложилъ я незнакомкѣ, которая, все еще не снимая вуали, въ какомъ то странномъ оцѣпленії стояла предо мною.

Она сѣла.

— Уважая всякую тайну, — продолжалъ я шутливо, — я все же просилъ бы васъ снять это мрачное, безобразящее васъ покрывало. Развѣ нуждается въ маскѣ человѣческое лицо?

Въ волненіи, причину котораго я понялъ, какъ оказалось, совершенно невѣрно, странная посѣтельница отвѣтила отказомъ.

— Хорошо, я сниму, но только потомъ. Я раньше хочу посмотретьъ на васъ.

Пріятный голосъ незнакомки не вызвалъ во мнѣ никакихъ воспоминаній. Весьма заинтригованный и даже польщенный, я съ полной готовностью предоставилъ посѣтельницѣ всѣ сокровища моего ума, опыта и таланта. Съ увлеченіемъ, какого уже давно у меня не бывало, я рассказалъ ей всю поучительную исторію моей жизни, непрестанно освѣ-

щая ее въ мельчайшихъ подробностяхъ лучомъ великой цѣлесообразности. (При этомъ я пользовался частью тѣмъ матеріаломъ, надъ которымъ только что работалъ, подготавляя мои лекціи.) Страстное вниманіе, съ какимъ слушала неизнакомка мои рѣчи, частые и глубокіе вздохи, нервный трепетъ тонкихъ пальцевъ, обтянутыхъ черною перчаткой, взволнованныя восклицанія — О Боже! — вдохновили меня. И — что рѣдко позволяю я себѣ съ дамами — я рассказалъ ей всю прекрасную повѣсть моихъ многолѣтнихъ отношеній съ г-жею Н. Н., которая, какъ воплотившаяся мечта, сама того не вѣдая, раздѣляла мое уединеніе и мое ложе въ нашей тюрьмѣ. Захваченный своимъ разсказомъ я, признаюсь, не обратилъ должнаго вниманія на странное поведеніе моей посѣтительницы: потерявъ всякую сдержанность, она хватала мои руки съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующее мгновеніе рѣзко оттолкнуть ихъ, плакала и, пользуясь каждой паузой въ моей рѣчи, умоляла:

— Не надо, не надо, не надо! Замолчите! Я не могу этого слышать!

И въ ту минуту, когда я всего менѣе этого ожидалъ, она сдернула вуаль и моимъ глазамъ — моимъ глазамъ предстало лицо ея, моей любви, моей мечты, моей безконечной и горькой муки. Оттого ли, что всю жизнь я прожилъ съ нею въ одной мечтѣ, съ нею былъ молодъ, съ нею мужжалъ и старился, съ нею подвигался къ могилѣ — лицо ея не показалось мнѣ ни старымъ, ни увядшимъ: оно было какъ разъ тѣмъ, какимъ видѣлъ я въ грезахъ моихъ, безконечно дорогимъ и любимымъ.

Что сдѣлалось со мною! Впервые за десятки лѣтъ, я забылъ, что у меня есть лицо, впервые за десятки лѣтъ, какъ юноша, какъ пойманый преступникъ, я беспомощно смотрѣлъ и ждалъ какого то смертельного удара.

— Ты видишь, ты видишь! Это я. Боже мой, вѣдь это же я! Что же ты молчишь? Ты не узналъ меня?

Я не узналъ ее! Лучше бы никогда не знать мнѣ этого лица! Лучше бы ослѣпнуть мнѣ, чѣмъ снова увидѣть ее!

— Что же ты молчишь? Какой ты страшный! Ты забыл меня!

— Сударыня . . .

Конечно, мнѣ и слѣдовало такъ продолжать: я видѣлъ, какъ отшатнулась она, я видѣлъ, какъ дрожащими пальцами, почти падая, она искала вуалетку, я видѣлъ, что еще слово мужественной правды и страшное видѣніе исчезнетъ, чтобы снова не вернуться никогда. Но кто то чужой *во мнѣ* — не я, не я произнесъ эту нелѣпую, смѣшную фразу, въ которой звучало сквозь холодъ ея такъ много ревности и безнадежной тоски.

— Сударыня, вы измѣнили мнѣ. Я вѣсъ не знаю. Быть можетъ вы ошиблись дверью. Вѣроятно, ждуть вашъ мужъ и дѣти. Позвольте — мой слуга проводить васъ до кареты.

Думалъ ли я, что эти слова, сказанныя все же голосомъ строгимъ и холоднымъ, такъ отзовутся въ сердцѣ женщины: съ крикомъ, всю горькую страсть котораго я не сумѣю передать, она бросилась предо мною на колѣни, восклицая:

— Такъ ты любишь меня!

И здѣсь, къ стыду моему, началось то дикое, сверхестинное, чему я не могу и не смѣю найти оправданія. Забывая, что жизнь прожита, что мы старики, что все погибло, развѣяно временемъ, какъ пыль, и вернуться не можетъ никогда; забывая, что я сѣдъ, что горбится моя спина, что голосъ страсти звучитъ дико изъ старческаго рта — я разразился неистовыми жалобами и упреками. Внезапно помолодѣвъ на десятки лѣтъ, мы оба закружились въ бѣшенномъ потокѣ любви, ревности и страсти.

— Да, я измѣнила тебѣ! — кричали мнѣ ея помертвѣвшія губы. — Я знала, что ты невиненъ . . .

— Молчи, молчи.

— Надо мной смѣялись, даже друзья твои, твоя мать, которую я за это ненавижу, всѣ предали тебя. И только я одна твердила: онъ невиненъ!

О, если бы знала эта женщина, что дѣлаютъ со мною ея слова. Если бы рогъ архангела, зовущаго на страшный судъ, зазвучалъ надъ самыи ухомъ моимъ, онъ не испугалъ бы меня такъ: что значить для смѣлаго слуха ревъ трубы, зовущей къ борьбѣ и состязанію. Воистину бездна раскрылась подъ ногами. Воистину бездна раскрылась подъ ногами моими, и точно ослѣпленный молнией, точно ударомъ оглушенный, я закричалъ въ дикомъ и непонятномъ восторгѣ:

— Молчи! Я . . .

Если бы женщина эта была послана Богомъ, она замолчала бы; если бы дьяволомъ была послана — замолчала бы она и тогда. Но не было въ ней ни Бога, ни дьявола, и, перебивая меня, не давая мнѣ окончить начатаго, она продолжала:

— Нѣть, я не замолчу. Я все должна сказать тебѣ, я столько лѣтъ ждала тебя. Слушай, слушай!

Но вдругъ увидѣла она мое лицо и отступила въ испугѣ.

— Что ты? Что съ тобою? Зачѣмъ ты смѣешься? Я боюсь твоей улыбки. Перестань смѣяться! Не надо, не надо!

Но я и не смеялся, я только улыбался тихо. А затѣмъ, совершенно серьезно и безъ улыбки, я сказалъ.

— Я улыбаюсь, потому что радъ видѣть тебя. Говори мнѣ о себѣ.

И какъ во снѣ увидѣлъ я склоненное ко мнѣ лицо, и тихій, страшный шопотъ коснулся моего слуха:

— Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь, всю жизнь я любила только тебя одного. Я жила съ другимъ и была вѣрна ему, у меня дѣти, но ты знаешь, всѣ они чужіе мнѣ: и онъ, и дѣти, и я сама. Да, я измѣнила тебѣ, я преступница, но я не знаю, что сдѣвалось тогда со мною, ты вѣдь знаешь какой онъ? Онъ былъ такъ добръ со мною, онъ притворялся, я потомъ узнала это, что также не вѣрить въ твою виновность, и этимъ, ты подумай, э ти мъ онъ купилъ меня.

— Ты лжешь!

— Клянусь тебе. Целый год ходил онъ около меня и говорилъ только о тебе. Знаешь, онъ даже плакалъ однажды, когда я рассказала ему о тебе, о твоихъ страданіяхъ, о твоей любви.

— Но вѣдь онъ же лгалъ!

— Ну да, конечно, лгалъ. Но тогда онъ показался мнѣ такимъ милымъ, такимъ добрымъ, что я поцѣловала его въ лобъ. Но только въ лобъ, больше не было ничего, даю тебѣ честное слово. Потомъ мы съ нимъ возили цветы тебѣ, въ тюрьму. И вотъ разъ, когда мы возвращались — нѣть, ты послушай — онъ вдругъ предложилъ мнѣ поѣхать покататься, вечеръ бытъ такой хороший . . .

— И ты поѣхала! Какъ же смѣла ты поѣхать! Ты только что видѣла мою тюрьму, ты только что была вблизи меня — и смѣла поѣхать съ нимъ? Какая подлость!

— Молчи, молчи. Я знаю, я преступница. Но я такъ устала, такъ измучилась, а ты бытъ такъ далеко. Пойми меня.

Она заплакала, ломая руки.

— Пойми меня. Я такъ измучилась тогда. И онъ . . . вѣдь онъ же видѣлъ какая я . . . онъ осмѣлился попцѣловать меня.

— Попцѣловать! И ты позволила. Въ губы?

— Нѣть, нѣть! Только въ щеку.

— Ты лжешь!

— Нѣть, нѣть. Клянусь тебе. Ну, а потомъ . . . ну, а потомъ.

Я засмѣялся — ну, а потомъ, конечно, въ губы. И ты отвѣтила ему? И вы катались по лѣсу — ты, моя невѣста, моя любовь, моя мечта. И все это для меня? И дѣтей съ нимъ ты рожала для меня? Говори! Да говори же!

Въ бѣшенствѣ я ломалъ ея руки, и, извиваясь какъ змѣя, безнадежно пытаясь укрыться отъ моего взгляда, она шептала:

— Прости меня, прости меня.

— Сколько у тебя дѣтей?

— Прости меня.

Но разсудокъ покидалъ меня, и въ наростающемъ бѣшенствѣ, топая ногою, я кричалъ:

— Сколько дѣтей? Говори. Я убью тебя!

И это я дѣйствительно сказалъ: повидимому, разсудокъ окончательно готовился меня покинуть, если я, я могъ грозить убийствомъ беззащитной женщинѣ. И она, догадываясь, очевидно, что это только слова, отвѣтила съ притворною готовностью:

— Убей! Ты имѣешь право на это! Я преступница. Я обманула тебя. А ты мученикъ, ты святой! Когда ты рассказывалъ мнѣ . . . Это правда, что даже въ мысляхъ ты не измѣнялъ мнѣ? Даже въ мысляхъ!

И снова подъ ногами моими раскрылась бездна; все шаталось, все падало, все становилось безмыслицей и сномъ, и съ послѣдней попыткой сохранить погасавшій разсудокъ, я крикнулъ грубо:

— Но вѣдь ты же счастлива! Ты не можешь быть несчастна, ты не имѣешь права быть несчастной! Иначе я сойду съ ума!

Но она не поняла. Съ горькимъ смѣхомъ, съ безумной улыбкой, въ которой мука сочеталась съ какой то свѣтлой небесной радостью, она сказала:

— Я счастлива? Я — счастлива? О, другъ мой, только у ногъ твоихъ я могу найти счастье. Съ той минуты, какъ ты вышелъ изъ тюрьмы, я возненавидѣла мой домъ, мою семью, я тамъ одна, я всѣмъ чужая. Если бы ты зналь, какъ я ненавижу этого негодяя!

— Ты говоришь о мужѣ?

— Онъ воръ. Мой мужъ ты! Ты мудрый, ты вѣрно почувствовалъ: въ тюрьмѣ ты былъ не одинъ, я всегда была съ тобою . . .

— И ночь?

— Да, всѣ ночи.

— А кто же лежалъ съ нимъ?

— Молчи, молчи! Если бы ты только слышалъ, если бы ты только видѣль съ какою радостью я бросила ему въ глаза — подлецъ! Десятки лѣтъ оно жгло мой языкъ; ночью, въ его объятіяхъ, я тихонько твердила про себя: подлецъ-подлецъ-подлецъ! И ты понимаешь: то, что онъ считалъ страстью, было ненавистью, презрѣніемъ, плевкомъ. И я сама искала его объятій, чтобы еще разъ, еще разъ оскорбить его!

Она захочотала, пугая меня дикимъ выраженіемъ свое-го лица.

— Нѣть, ты подумай только: всю жизнь онъ обнималъ только ложь. И когда, обманутый, счастливый, онъ засыпалъ, я долго и тихонько лежала открывши глаза и тихонько скрипѣла зубами, и мнѣ хотѣлось ущипнуть, уколоть его булавкой. И ты знаешь, — она снова захочотала — только поэтому я не измѣнила ему.

Мнѣ казалось, что въ мозгъ мой вгоняютъ клинья. Схва-тившись за голову, я закричалъ:

— Ты лжешь! Кому ты лжешь?

— Нѣть, правда же, голубчикъ. Мнѣ очень нравился одинъ, ты его не знаешь, и онъ любилъ меня. Но развѣ могла я измѣнить тебѣ?

— Мнѣ?

Воистину, съ призракомъ мнѣ было легче говорить, чѣмъ съ женщиной! Что могъ сказать я ей — мой умъ мутился. И какъ могъ я оттолкнуть ее, когда съ безпредѣльной жадностью, полная любви и страсти, она цѣловала мои руки, глаза, лицо. Это она, моя любовь, моя мечта, моя горькая мука!

— Я люблю тебя. Я люблю тебя.

И я повѣрилъ всему: я повѣрилъ ея любви, повѣрилъ, что, отдаваясь этому негодяю, она жила только со мною, какъ честная и никогда не измѣняющая жена. Я всему повѣрилъ. И вновь я почувствовалъ черными мои кудри — и вновь я увидѣль себя молодымъ. И я упалъ передъ ней на колѣни и плакалъ долго, и тихо шепталъ о какихъ то

страданіяхъ, о тоскѣ одиночества, о чьемъ то сердцѣ разбитомъ жестоко, о чьей то поруганной, искалѣченной, изуродованной мысли. И плача, и смѣясь гладила она мои волосы; и вдругъ замѣтила, что они сѣды и закричала дико.

— Что съ тобою?

— А жизнь? Вѣдь я же старуха.

Нѣть, я ничего не понимаю. Я не вѣрю, я не могу повѣрить тому, что произошло. Уже давно, ужъ много лѣтъ во мнѣ погасла страсть. Откуда же вновь съ такою силою явилась она! Развѣ на свѣтѣ бываются чудеса! И неужели это старуха, а не дѣвушка, не женщина, сгорающая страстью, обнимала меня, прижималась ко мнѣ взволнованною грудью. Мы плакали и смѣялись. И такъ, плача и смѣясь, мы отдались другъ другу. О, жалкій и постыдный мигъ. Пусть всею своей тяжкою громадой придавить и убеть тебя забвеніе. Я не хочу принять тебя, безумный даръ насыщенной судьбы, — я не хочу, я не хочу.

А она говорила, смѣясь и плача.

— Ты подумай, это наша первая брачная ночь.

Воистину, здѣсь третьимъ присутствовалъ самъ сатана.

Было ровно половина четвертаго, когда она ушла. Время довольно позднее для стариковъ. Уходя, она потребовала, чтобъ я, какъ юноша, проводилъ ее до самаго порога — и я сдѣлалъ это. Уходя, она говорила мнѣ:

— Завтра я пріѣзжаю къ тебѣ совсѣмъ. Я знаю, дѣти откажутся отъ меня — ты знаешь, моя дочь скоро выходитъ замужъ — но вѣдь ихъ и такъ нѣть у меня, и мы уѣдемъ съ тобою . . . Ты любишь меня?

— Люблю.

— Милый, мы уѣдемъ далеко, далеко. Ты хотѣлъ читать какія то лекціи. Этого не надо. Мнѣ не нравится, что ты тамъ говоришь, о какой то желѣзной рѣшеткѣ. Ты просто измучился, тебѣ такъ надо отдохнуть. Хорошо?

— Да, хорошо.

— Ахъ, я и забыла вуалетку. Сохрани ее, сохрани ее на память о нынѣшнемъ днѣ. Милый!

Въ вестибюлѣ, въ присутствіи сонного портье, она горячо поцѣловала меня. Отъ нея пахло какими то новыми духами, не тѣми, что было надушено письмо. И дышала она тяжело, какъ загнанная лошадь: въ такіе года сильное волненіе не проходить безнаказанно. И на рыданье былъ похожъ ея послѣдній кокетливый смѣхъ, съ какимъ исчезла она за стеклянной дверью. Она ушла.

Въ ту же ночь, разбудивъ слугу, я приказалъ ему уложить вещи, и мы уѣхали. Я не скажу, гдѣ нахожусь я此刻; но всю вчерашнюю и нынѣшнюю ночь надъ головою моей шумѣли деревья и дождь стучалъ въ окна. Здѣсь окна маленькия и мнѣ легче за ними. Ей я написалъ довольно обширное письмо, содержаніе которого считаю излишнимъ приводить. Больше съ нею мы не увидимся никогда.

Но что же мнѣ дѣлать? Пусть извинитъ читатель эти безсвязные вопросы. Они такъ естественны въ моемъ положеніи. Къ тому же во время переѣзда я схватилъ сильный ревматизмъ, столь мучительный, даже опасный въ мои годы, и онъ не даетъ мнѣ возможности мыслить спокойно. Почему то, я очень много думаю о моемъ юномъ, столь безвременно погибшемъ другѣ г-нѣ К. Каково то ему въ его новой тюрьмѣ?

Завтра утромъ, если позволять силы, намѣреваюсь сдѣлать визитъ г-ну Начальнику нашей тюрьмы и его почтенной супругѣ. Наша тюрьма . . .

X.

Безконечно счастливъ сообщить моему дорогому читателю, что какъ тѣлесныя, такъ и душевныя силы мои вполнѣ возстановились. Продолжительный отдыхъ на лонѣ природы, среди ея умиротворяющихъ красотъ, созерцаніе сельской жизни, столь простой и ясной, отсутствіе городского шума, когда сотни вѣтряныхъ мельницъ безтолково машутъ передъ

носомъ своими длинными руками; наконецъ, полное, ничѣмъ ненарушенное одночество — вновь возвратили моему поколебленному міросозерцаню всю его былую стройность и желѣзную непреодолимую крѣость. Спокойно и увѣренно гляжу я въ мое будущее и хотя ничего другого, кромѣ одинокой могилы и послѣдняго странствія въ безвѣстную даль оно мнѣ не сулитъ, я столь же мужественно готовъ встрѣтить смерть, какъ прожилъ жизнь, черпая силу въ одиночествѣ моемъ, въ сознаніи невиновности и правоты моей.

Если, какъ увѣряютъ богословы, нась ждетъ загробная жизнь и послѣдній Страшный судъ, я и на Страшномъ судѣ, передъ ликомъ бессмертныхъ небожителей, громко засвидѣтельствую мою невиновность. Подобно тому невинному Агнцу, который взялъ на себя грѣхи міра — поднялъ я на свои человѣческія рамена великий грѣхъ міра и бережно, не расплескавъ ни капли, донесъ его до могилы. Пусть сгибались подъ тяжкою ношкою мои колѣни, пусть гнулась спина, — мое всевыносящее сердце никогда не просило пощады и ни откуда не ждало ея. И если на Страшномъ судѣ я не встрѣчу справедливости, терпѣливо и покорно, въ безграничности временъ, я буду ждать новаго, Страшнѣйшаго суда.

Столь же счастливъ сообщить моему любезному читателю, что непродолжительное пребываніе на ихъ, такъ называемой свободѣ, во многомъ содѣйствовало дальнѣйшему развитію моихъ взглядовъ, и помогло избавиться отъ одной грубѣйшей, возмутительной ошибки. Нѣсколько непродуманно принимая устройство нашей тюрьмы за идеальное и окончательное (сколько горькихъ разочарованій принесла мнѣ эта ошибка!) и видя въ нашей тюрьмѣ существование «общихъ камеръ для мошенниковъ», я утвердился на мысли, что подобные камеры столь же законосообразны, естественны и логичны, какъ и одиночное заключеніе. Только лично проживъ въ одной изъ такихъ камеръ — да простится мнѣ эта нѣсколько дерзкая шутка въ отношеніи къ ихъ жизни!

— я почувствовалъ всю глубину моей ошибки. Не могу умолчать объ одномъ курьезѣ, почти анекдотѣ, прекрасно характеризующемъ странную и смѣшную разсѣянность, которой подвержены многіе мыслители и учёные. Такъ, разбирая съ г-номъ Начальникомъ планъ нашей тюрмы и восхваляя его, я съ иѣкоторой осторожностью, даже опаскою, освѣдомился о томъ, чѣмъ объясняется существованіе «общихъ камеръ для мошенниковъ».

— Мѣста мало. Для наиболѣе тяжкихъ — одиночное, для всѣхъ прочихъ — по мѣрѣ возможности.

Мѣста мало — какъ это просто, мудро и ясно! А я, глупецъ, мнящій себя мыслителемъ, и не могъ догадаться о томъ, что при избыткѣ народонаселенія одиночное заключеніе можетъ быть удѣломъ только избранныхъ. Много званыхъ, но мало избранныхъ — или какъ лаконично и краснорѣчиво выразился мой высокопочитаемый Начальникъ:

— Мѣста мало!

Прежде чѣмъ разскажать, какъ воспользовался я сознаніемъ моей ошибки въ цѣляхъ строенія новой жизни, упомяну въ иѣсколькихъ словахъ о г-жѣ N. N. Какъ сообщили газеты, эта почтенная дама скончалась внезапно и притомъ при весьма загадочныхъ обстоятельствахъ, намекающихъ на возможность самоубийства. Горе ея мужа и осиротѣвшей семьи не поддается описанію. Такъ говорятъ газеты. Съ своей стороны, я сильно, однако, сомнѣваюсь, чтобы здѣсь дѣйствительно имѣло мѣсто самоубийство, для котораго я не вижу достаточныхъ оснований.

Очень внимательно и серьезно разсмотрѣвъ все то, что произошло на нашемъ свиданіи, я пришелъ къ весьма грустному выводу, съ которымъ не можетъ не согласиться мой благосклонный читатель: несомнѣнно, что г-жа N. N. лгала, увѣряя, что не любить мужа, отъ котораго имѣеть пол-дюжины дѣтей, а любить меня. Конечно, я не могу строго отнестись къ этой наивной лжи, вполнѣ естественно объясняемой тѣмъ экзальтированнымъ состояніемъ, въ которомъ находилась при свиданіи моя старая подруга. Просто со-

знатъся въ томъ, что она мнѣ измѣнила, г-жа Н. Н. не могла, и естественно, прибѣгла къ нѣкоторымъ украшениямъ и легкому, чисто женскому сочинительству, желая доставить пріятное какъ мнѣ, такъ и себѣ. Чувствуя нѣкоторую, въ дѣйствительности, ничтожную вину передо мною, она слишкомъ торопилась ее загладить; не могу, къ сожалѣнію, одобрить всѣхъ мѣръ, предпринятыхъ ею въ этомъ направленіи. Глубоко убѣжденъ, что возвратившись къ своему достойному супругу, въ которомъ она не можетъ чтить отца своихъ шестерыхъ дѣтей, она сама разсказала ему о нашемъ потѣшномъ свиданіи — умолчавъ, конечно, о нѣкоторыхъ подробностяхъ, которыхъ могли быть ему непріятны.

Чуть не забыть упомянуть, что г-жѣ N. N. удалось какимъ то образомъ узнать мой адресъ и она прислала мнѣ нѣсколько писемъ, которыхъ я вернулъ нераспечатанными, не разсчитывая найти въ нихъ ничего нового и интереснаго, кроме все тѣхъ же полуложивыхъ изліяній. А за нѣсколько дней до своей впезальной смерти, кажется за недѣлю, она прѣѣзжала сама, но не застала меня дома — я былъ у г-на Начальника нашей тюрьмы.

Среди вѣнковъ, украшавшихъ гробъ г-жи N. N., былъ одинъ, привлекавшій общіе взоры своей оригинальной формою: эта была красиво сплетенная рѣшетка изъ кроваво-красныхъ розъ. И надпись на вѣнкѣ гласила: «Отъ неизвѣстнаго друга. Отдохни, усталое сердце».

Послѣднее, что остается мнѣ добавить для полнаго и окончательного разсчета съ этой жизнью — я отказался отъ предполагаемаго турнѣ, несмотря на горячія просьбы и мольбы моего импресарио. Можетъ быть, впослѣдствіи я и соглашусь на чтеніе лекцій — но сейчасъ у меня нѣть что то охоты бесѣдовать съ этимъ легкомысленнымъ народомъ, одинаково готовымъ, какъ неразборчивое животное, пожирать правду и ложь. Какъ, вѣроятно, тоскуютъ великие актеры передъ этой благосклонной публикою, которую легче обмануть, чѣмъ ворону и которую никогда нельзя обмануть, потому что вѣра ея — обманъ. И, минутами, когда мнѣ хо-

чется посмѣяться, я представляю себѣ Дьявола, который со всѣмъ великимъ запасомъ адской лжи, хитрости и лукавства, явился на землю въ тщеславной надеждѣ гениально солгать — и вдругъ оказывается, что тамъ просто на просто не знаютъ разницы между правдою и ложью, какую знаютъ и въ аду, и любая женщина, любой ребенокъ въ невинности глазъ своихъ искусно водить за носъ самого маститаго артиста!

Но мнѣ не до шутокъ, какъ бы ни были онѣ забавны: меня ждетъ иная, великая, свѣтлая работа, и къ ней я тороплюсь, съ сожалѣніемъ покидая моего любезнаго читателя. Надѣюсь, впрочемъ, завтра же свидѣться и рассказать кое что новое.

XI.

Двадцать второе октября 19.... года, воскресенье.

Со страннымъ чувствомъ открылъ я эти залежавшіеся листки. До завтра, сказалъ я моему невѣдомому читателю, не предполагая, что не однѣ сутки, а цѣлыхъ три года пройдетъ до той минуты, когда возобновлю я прерванную бесѣду. И только изъ желанія всегда доводить до конца то, что я началъ, набрасываю я эти послѣднія строки.

Если успѣлъ измѣниться за эти года мой невѣдомый другъ-читатель, то еще въ большей степени измѣнился я, въ условіяхъ моей новой жизни. Съ грустной улыбкой, иногда съ недоумѣніемъ, иногда возмущаясь глубоко, проглядѣль я написанное мною. Кому это нужно? — развѣ я не одинъ. А я все искаль кого то, хотѣль кого то убѣдить, мучился сознаніемъ, что мнѣ не вѣрять и — часто лгалъ. Да, теперь я могу откровенно сознаться: я очень много лгалъ въ этихъ безцѣльныхъ и наивныхъ запискахъ (особенно не-приятенъ въ этомъ отношеніи мой разсказъ о появлѣніи призрака). Зачѣмъ я дѣлалъ это — развѣ я не одинъ? И что значатъ какія то жалкія правда и ложь, въ сравненіи съ тѣмъ грознымъ и великимъ, что ношу я сейчасъ въ моей

одинокой душѣ. Какъ жалкій актеръ, я искалъ какихъ то безсмысленныхъ апплодисментовъ и кланялся низко праздному зѣвакѣ, заплатившему гроши, чтобы увидѣть меня — когда тутъ же, въ темнотѣ кулисъ, поджидала меня голодная Вѣчность! Не довольствуясь сознаніемъ, что я невиновенъ, я все время пытался зачѣмъ то доказать мою чистоту — точно кому нибудь и дѣйствительно нужна моя чистота. Впрочемъ, не буду распространяться: уже скоро тюремщикъ погасить свѣтъ въ моей камерѣ, а возвращаться снова къ этимъ запискамъ я не хочу.

Вернусь къ тому отдаленному времени.

Послѣ долгихъ, теперь не совсѣмъ понятныхъ мнѣ колебаний, я рѣшилъ, наконецъ, возстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цѣли, найдя на окраинѣ города небольшой домъ, отдававшійся въ долгосрочную аренду, я нанялъ его; затѣмъ при любезномъ содѣйствіи г-на Начальника нашей тюрьмы, всю глубину благородности къ которому я не могу выразить словами, я прігласилъ на новое мѣсто одного изъ опытнѣйшихъ тюремщиковъ, человѣка еще молодого, но уже закаленного въ строгихъ принципахъ нашей тюрьмы. Пользуясь его указаніями, а также совѣтами все того же обязателльнаго г-на Начальника, нанятые мною рабочіе превратили одну изъ комнатъ въ точное подобіе камеры. Какъ размѣры, такъ и форма и всѣ подробности моего новаго и, надѣюсь, послѣдняго жилища, строго соотвѣтствуютъ плану. Размѣры моей камеры 8×4 ; высота 4; стѣны внизу покрашены сѣрой краской; верхъ же ихъ, а равно потолокъ остаются бѣлыми; вверху квадратное окно $1\frac{1}{2}$ на $1\frac{1}{2}$ съ массивной желѣзной решеткой уже успѣвшей заржавѣть отъ времени; на двери, запираемой тяжелымъ и прочнымъ замкомъ, издающимъ звонкій лязгъ при каждомъ поворотѣ ключа, небольшое отверстіе для наблюденія, а ниже его форточка, въ которую подается и принимается пища. Обстановка камеры: столъ, стулъ и привинченная къ стѣнѣ кровать; на стѣнѣ распятіе, мой портретъ и въ черной рамкѣ правила о поведеніи заключен-

ныхъ, а въ углу шкафъ съ книгами. Послѣдній, являясь нарушениемъ строгой гармоніи моего жилища, вызванъ крайней и печальной необходимостью: тюремщикъ рѣшительно отказался быть моимъ библиотекаремъ и выдавать мнѣ книги по списку, а нанимать для этой цѣли особаго человѣка, мнѣ показалось излишнимъ чудацтвомъ. И безъ того, при осуществленіи плана, я встрѣтилъ сильную оппозицію не только со стороны мѣстного населенія, которое попросту объявило меня сумасшедшими, но и со стороны лицъ болѣе просвѣщенныхъ. Даже г. Начальникъ нѣкоторое время безуспѣшно пытался отговорить меня и только подъ конецъ горячо пожалъ мнѣ руку, выразивъ искреннее сожалѣніе, что не можетъ предоставить мнѣ мѣста въ нашей тюрьмѣ.

Не могу безъ горькой улыбки вспомнить первый день моего заключенія: толпа наглыхъ и невѣжественныхъ зѣвалъ съ утра до ночи галдѣла у моего окна, задирая голову къ верху, (моя камера находится во второмъ этажѣ) и осыпала меня безсмысленными ругательствами; были даже попытки — къ стыду моихъ согражданъ! разгромить мое жилище, и одинъ, довольноувѣсистый камень чуть не раздробилъ мнѣ голову. Только во время явившейся полиціи удалось предотвратить катастрофу. Когда же, по вечерамъ, я выходилъ на мою прогулку, сотня глупцовъ взрослыхъ и дѣтей провожала меня съ гикомъ и свистомъ, осыпая бранью, даже бросая въ меня грязью. Такъ, подобно гонимому пророку, безтрепетно совершаю я мой путь среди бѣснующейся толпы, на удары и проклятия отвѣчая только гордымъ молчаніемъ.

Что возмутило этихъ глупцовъ, чѣмъ оскорбилъ я ихъ пустую голову? Когда я имъ лгалъ — они цѣловали мнѣ руки; когда же во всей строгости и чистотѣ я возстановилъ святую правду моей жизни, они разразились проклятиями, они заклеймили меня презрѣніемъ, забросали грязью. Ихъ возмутило, что я смѣю жить одинъ и не прошу для себя мѣстечка въ общей камерѣ для мошенниковъ. Какъ трудно быть правдивымъ въ этомъ мірѣ!

Правда, моя настойчивость и твердость подъ конецъ покорила ихъ: съ наивностью дикарей, чтушихъ все непонятое, уже со второго года, они начали кланяться мнѣ и кланяются все ниже, потому что все больше ихъ удивлениe, все глубже страхъ передъ непонятнымъ. И то, что я никогда не отвѣчаю на ихъ поклоны, внушаетъ имъ восторгъ; и то, что я никогда не отвѣчаю улыбкой на ихъ льстивыя улыбки, внушаетъ имъ твердую увѣренность, что въ чемъ то огромномъ они виноваты передо мною и что я знаю ихъ вину. Извѣрившись въ словахъ своихъ и чужихъ, они благоговѣютъ передъ молчаниемъ моимъ, какъ благоговѣютъ они передъ всякимъ молчаниемъ и всякою тайною. И вдругъ заговори я, — я снова стану для нихъ человѣкомъ и разочарую ихъ горько, что бы я ни говорилъ; въ молчаніи же моемъ я становлюсь подобенъ имъ вѣчно молчащему Богу. Ибо и Богу своему перестаютъ вѣрить эти странные люди, какъ только заговорить имъ Богъ. Во всякомъ случаѣ, ихъ женщины уже считаютъ меня святымъ; и тѣ кланяющіяся женщины и хворые дѣти, которыхъ нерѣдко нахожу я у порога моего жилища, съ несомнѣнностью ждутъ отъ меня пустяка — исцѣленія и чуда. Что же, пройдетъ еще годъ или два и я стану творить чудеса несколько не хуже тѣхъ, о какихъ рассказываютъ они съ такимъ восторгомъ. Странные люди, порою мнѣ становится ихъ жаль и я не на шутку начинаю сердиться на Дьявола, который такъ искусно смѣшалъ карты въ ихъ игрѣ, что только шуллеръ знаетъ правду, свою маленькую шуллерскую правду о накрапленныхъ фальшивыхъ дамахъ и столь же фальшивыхъ короляхъ. Слишкомъ низко кланяются они, однако, и это мѣшаетъ развиться чувству жалости, а то — улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель! — я и вправду не удержался бы отъ соблазна сотворить два, три небольшихъ, но эффектныхъ чуда.

Вернусь къ дальнѣйшему описанію моей тюрьмы.

Устроивъ окончательно мою камеру, я поставилъ тюремщику альтернативу: или онъ будетъ во всей строгости соблюдать по отношенію ко мнѣ всѣ правила тюремнаго режима и

тогда, по духовному завѣщанію получить все мое состояніе; или же — не получить ничего. Казалось бы, при такой ясной постановкѣ вопроса, я уже не встрѣчу затрудненій, но при первомъ же случаѣ, когда за нарушеніе какого то правила меня слѣдовало посадить въ карцеръ, этотъ наивный и робкій человѣкъ на отрѣзъ отказался исполнить это; и только угрозою немедленно пригласить на его мѣсто другого, болѣе добро-совѣстнаго тюремщика, я принудилъ его выполнить свою обязанность. Равнымъ образомъ, весьма исправно запирая двери, онъ первое время рѣшительно пренебрегалъ своей обязанностью наблюдать за мною въ глазокъ; и если я, въ цѣляхъ испытанія его твердости, предлагалъ ему, въ ущербъ здравому смыслу, измѣнить какое нибудь правило, онъ охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличивъ его такимъ образомъ, я сказалъ ему:

— Мой другъ, ты попросту глупъ. Вѣдь если ты не будешь наблюдать за мною и какъ слѣдуетъ стеречь, то я уѣду въ другую тюрьму и унесу съ собою завѣщаніе. Что будешь дѣлать ты тогда?

Счастивъ сообщить, что въ настоящее время всѣ эти недоразумѣнія уладились, и если я могу на что нибудь пожаловаться, то скорѣй на излишнюю строгость, чѣмъ на снисходительность: совершенно войдя въ свое положеніе тюремщика, этотъ честный человѣкъ уже не для корысти, а во имя принципа, обращается со мной съ крайнею суро-востью. Такъ, въ началѣ этой недѣли онъ рѣшилъ меня посадить на сутки въ карцеръ за провинность, которой, какъ мнѣ казалось, я не совершалъ; и протестуя противъ кажущейся несправедливости, я имѣлъ непростительную слабость сказать ему:

— Въ концѣ концовъ я возьму и прогоню тебя. Не забывай, что ты служишь у меня.

— А пока ты меня прогонишь, я все таки тебя засажу, — съ честною грубостью, отвѣтилъ мнѣ этотъ достойный человѣкъ.

— А какъ же деньги? — удивленно возразилъ я — ты же лишишься ихъ?

— А развѣ мнѣ нужны твои деньги? Я отдалъ бы всѣ свои деньги, чтобы не быть тѣмъ, что я есть. Но что же я могу подѣлать, если ты дѣйствительно нарушилъ правило, и я долженъ отвести тебя въ карцеръ.

Я не въ силахъ передать того радостнаго волненія, которое охватило меня при мысли, что и въ эту темную голову вошло, наконецъ, сознаніе долга, и что теперь, если бы даже я и пожелалъ, поддавшись слабости, уйти изъ моей тюрьмы — мой добросовѣстный тюремщикъ не допустить меня до этого. Рѣшительный огонь, сверкавшій въ его круглыхъ глазахъ, ясно показалъ мнѣ, что всюду, куда бы я не убѣжалъ, онъ найдетъ меня и приведетъ обратно; и что револьверъ, который прежде онъ такъ часто забывалъ положить въ кобуру, а нынѣ чистить ежедневно, дѣйствительно сослужитъ свою службу, вздумай я бѣжать. И впервые, за эти года, я съ счастливой улыбкой заснулъ на каменномъ полу темнаго карцера, въ сознаніи, что планъ мой увѣнчался полнымъ успѣхомъ, перейдя изъ области почти что чуда-чества въ область грозной и суровой дѣйствительности; и тотъ страхъ, который, засыпая, почувствовалъ я къ моему тюремщику, къ его рѣшительнымъ глазамъ, къ его револьверу, робкое желаніе услышать его похвалу и вызвать, быть можетъ, даже улыбку на его неподкупныхъ устахъ — отдались въ моей душѣ гармоничнымъ звономъ извѣчныхъ и послѣднихъ кандаловъ.

Такъ доживаю я мои послѣдніе годы. По прежнему крѣпко мое здоровье и свѣтлъ свободный духъ. Пусть одни назовутъ меня безумцемъ и въ жалкомъ осляпленіи посмѣютъся надо мною; пусть другіе признаютъ меня святымъ и будуть ждать отъ меня чудесъ; пусть праведникъ для однихъ, для другихъ я лжецъ и обманщикъ — я самъ знаю, что я и не прошу о пониманіи. И если найдутся люди, которые упрекнутъ меня въ лживости, въ неблагородствѣ, даже въ отсутствіи простой чести — вѣдь до сихъ поръ есть

негодяи, уверенные, что я совершилъ убийство, — то ни чей языкъ не повернется, я уверенъ, чтобы обвинить меня въ трусости, въ томъ, что до конца не сумѣлъ я выполнить свой тяжелый долгъ. Съ начала до конца оставался я сильнымъ и неподкупнымъ; и страшилище, изувѣрь, темный ужасъ для однихъ, въ другихъ, быть можетъ, я пробужу героическую мечту о безграничной мощи человѣка.

Уже давно прекратилъ я пріемъ посѣтителей, и со смертью г-на Начальника нашей тюрьмы, единственного неизмѣнного друга, котораго изрѣдка я посѣщалъ, у меня порвалась послѣдняя связь съ этимъ міромъ. Только я, да мой свирѣпый тюремщикъ, съ безумной подозрительностью выслѣживавшій каждое мое движение, да черная рѣшетка, схватившая въ свои желѣзныя объятія безконечное, какъ намордникъ, закрывшая его зловѣшнюю пасть — вотъ и вся моя жизнь. Молчаливо принимая низкіе поклоны, въ холодномъ отдаленіи отъ людей, прохожу я мой послѣдній путь. И все чаще я думаю о смерти, но и передъ нею не склоняю я моего безтрепетнаго взора: сунуть ли она мнѣ вѣчный покой или новую невѣdomую и страшную борьбу — я покорно готовъ принять и то и другое.

Прощай, мой дорогой читатель! Смутнымъ призракомъ мелькнуль ты передъ моими глазами и ушелъ, оставивъ меня одного передъ лицомъ жизни и смерти. Не сердись, что порою я обманывалъ тебя и кое где лгалъ: вѣдь и ты на моемъ мѣстѣ солгалъ бы мнѣ, пожалуй. Все же я искренне любилъ тебя и искренне желалъ твоей любви; и мысль о твоемъ сочувствіи была для меня не малою поддержкою въ тяжелыя минуты и дни. Шлю тебѣ мое послѣднее прощеніе и искренній совѣтъ: забудь о моемъ существованіи, какъ я отнынѣ и навсегда забываю о твоемъ.

Часы моихъ прогулокъ, установленные мною съ начала заключенія, приноровлены къ вечернему времени, которое я такъ люблю за его мирную тишину угасанія. Не имѣя защищенаго дворика, я невольно долженъ былъ отступить

отъ строгихъ правилъ и совершать прогулку «на свободѣ». Впрочемъ, мой строгій другъ тюремщикъ поговариваетъ, что это надо прекратить, что для него становятся слишкомъ тяжелыми тѣ беспокойныя три четверти часа, которыя провожу я вѣтъ его надзора. И недавно на нашемъ дворѣ появился какой то загадочный кирпичъ: кажется онъ хочетъ обнести мою тюрьму каменной стѣною. Вообще онъ становится все строже. До сихъ поръ я ходилъ гулять одинъ, но со вчерашняго дня нась выходитъ и возвращается двое: впереди иду я, а сзади, въ двухъ шагахъ, не сводя съ меня глазъ, идетъ онъ.

Обычный путь для прогулки таковъ: я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся въ четверти версты отъ моей, нѣсколько минутъ провожу въ созерцаніи ея и затѣмъ, поспѣшино, дабы не опоздать, возвращаюсь къ себѣ.

Пустынное поле, поросшее бурьяномъ, лишенное вся-
каго эха, глухимъ ковромъ подходитъ къ самой оградѣ на-
шей тюрьмы, величавыя очертанія которой покоряютъ мое
воображеніе и мою мысль. Когда озаряетъ ее прощаль-
ными лучами угасая дневное свѣтило и, вся въ красномъ,
какъ дарица, какъ мученица, съ темными язвами своихъ
рѣшетчатыхъ оконъ, оно молчаливо и гордо поднимается
надъ равниной — я съ тоскою, какъ влюбленный, шлю ей
мои жалобы и вздохи и нѣжныя укоризны и клятвы ей,
моей любви, моей мечты, моей горькой и послѣдней мукѣ.
Навѣки останься у ея ногъ хотѣлъ бы я, но вотъ огляды-
валось я назадъ — черный, въ огненной рамкѣ заката, не-
подвижно стоитъ онъ и ждеть. И вздохнувъ, молча иду
я обратно, а за мною въ двухъ шагахъ, безшумно движется
онъ и сторожитъ каждое движеніе мое.

При закатѣ солнца наша тюрьма прекрасна.

• 60

Digitized by Google

BÜHNEN- UND BUCHVERLAG RUSSISCHER AUTOREN
J. LADYSCHNIKOW, BERLIN W. 15., Uhlandstr. 52.

Поступили въ продажу:

Максимъ Горькій.

Жизнь иенужнаго	
человѣка. Романъ	4,— м.
Исповѣдь. Повѣсть	3,— „
Мать. Романъ	4,— „
Дачники	2,— „
Дѣти солица	2,— „
Варвары	2,— „
Враги	2,— „
Въ Америкѣ	1,50 „
Тюрьма	1,50 „
Послѣдніе	1,50 „
Солдаты	1,— „
Букоемовъ. Дѣвочка	—,90 „
Разск. Филиппа Вас.	—,90 „
А. П. Чеховъ	—,90 „
Человѣкъ	—,60 „
9-е января	—,60 „
Прекрасная Франція	—,50 „
Король республики	—,50 „
Жрецъ морали	—,50 „
Хозяева жизни	—,50 „
Русскій царь	—,50 „
Товарищъ!	—,50 „

Евгений Чириковъ.

Мужики	2,— „
Мятежники	1,50 „
Легенда старого замка	1,50 „
Евреи	1,50 „
Красные огни	1,— „
На порукахъ	1,— „
На порогѣ жизни	—,60 „
„Товарищъ“	—,50 „

Семенъ Юшкевичъ.

Голодъ	2,— „
Прологъ. Романъ	2,— „
Евреи. Романъ	2,— „
Дина Гланкъ	1,50 „
Чужая	1,— „

Леонидъ Андреевъ.

Савва (Ignis Sanat.)	. 2,— м.
Къ звѣздамъ	1,50 „
Жизнь Человѣка	1,50 „
Царь-Голодъ	1,50 „
Гуда Искарюкъ и др.	1,50 „
Жизнь Василія, Фи-	
войского	1,50 „
Красный смѣхъ	1,20 „
Губернаторъ	1,20 „
Тьма	1,20 „
Проклятие звѣри	1,— „
Такъ было	—,75 „
Христіане	—,50 „
Елеазарь	—,50 „

Скиталецъ.

Полевой судъ	—,50 „
Лѣсь разгорался	—,50 „

Давидъ Айзманъ.

Терновый кустъ	1,50 „
--------------------------	--------

Кн. С. Д. Урусовъ.

Записки Губернатора	3,— „
---------------------	-------

Погромы въ Россіи

(по офиц. докум.)	. 6,— „
-------------------	---------

Осипъ Дымовъ.

Каждый день	1,— „
-----------------------	-------

Д. С. Мережковскій.

Смерть Павла I-го	. 1,50 „
-------------------	----------

Левъ Дейчъ.

Четыре побѣга	2,50 „
-------------------------	--------

о. Гр. Петровъ.

Письмо къ митрополиту Антонию	. 1,— „
-------------------------------	---------

Л. Н. Толстой.

Не могу молчать	1,— „
---------------------------	-------

В. С. Морозовъ.

За одно слово	0,50 „
-------------------------	--------

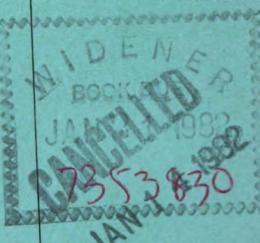
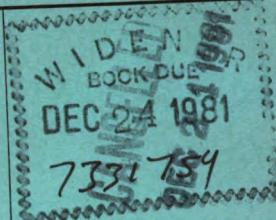
This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

FEB 6 1978
134701

CANCELLED



Slav 4335.6.70
Moi Zipitsky.
Widener Library

002743439



3 2044 085 499 747